

ДМИТРИЙ РАСКИН



Хроника Рая

РОМАН

Дмитрий Раскин

Хроника Рая

«Водолей»

2013

Раскин Д. И.

Хроника Рая / Д. И. Раскин — «Водолей», 2013

Дмитрий Раскин – писатель, поэт, драматург, работающий на стыке литературы и философии. Его книги выстроены на принципе взаимодополняемости философских и поэтических текстов. Роман «Хроника Рая» сочетает в себе философскую рефлексию, поэтику, иронию, пристальный, местами жесткий психологизм. Профессор Макс Лоттер и два его друга-эмигранта Меер Лехтман и Николай Прокофьев каждую пятницу встречаются в ресторанчике и устраивают несколько странные игры... Впрочем, игры ли это? Они ищут какой-то, должно быть, последний смысл бытия, и этот поиск всецело захватывает их. Герои романа мучительно вглядываются в себя в той духовной ситуации, где и «смысл жизни» и ее «абсурдность» давно уже стали некими штампами. Напряженное, истовое стремление героев разрешить завораживающую проблематику Ничто и Бытия обращает пространство романа в своего рода полигон, на котором проходят пристрастное, порою безжалостное испытание наши ценности и истины. Роман адресован читателям интеллектуальной прозы, ценящим метафизическую глубину текста, интеллектуальную мистификацию.

© Раскин Д. И., 2013

© Водолей, 2013

Содержание

От автора	5
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Дмитрий Ильич Раскин

Хроника Рая

Автор выражает глубокую благодарность Сергею Степановичу Гурьянову

От автора

Задачу произведения следует признать несколько странной. Хроника событий, чья последовательность имеет, как правило, второстепенное значение, чьи причинно-следственные связи весьма часто лишь маскируются под временные. Да и сами события не обязательно совпадают с действием здесь. А место действия, ладно было бы только условным. Иногда, кажется, оно само решает, когда быть условным ему, когда реальным. Для чего, собственно? Но и то и другое у него получается не вполне. И эта претензия «места» на превосходство над временем, а «искупать» почему-то приходится автору. Впрочем, все это дает ему и некоторые преимущества.

Кельнеру Бергу льстило, что каждую пятницу профессор Лоттер – гордость нашего Университета, может, даже и города, ужинает именно у них, в ресторанчике «У Миллера». Господин Миллер говорит, будто есть основания полагать, что профессор вскорости станет лауреатом. И тогда его фото они вывешают в вестибюле, нет, лучше справа от гардероба, там как раз осталось место между кинозвездой (что посетила их еще в бытность отца господина Миллера, но пропала табличка с фамилией) и отставным президентом азиатской державы (фамилия была – высокий гость с охраной обедал прошлой весной, но господин Миллер не мог вспомнить названия державы).

Берга ставило в тупик, почему профессор дружит с этими двумя чудаковатыми эмигрантами. Нет, конечно же, он не против эмиграции, если она легальная. Более того, лично он считает, что эмигранты способствуют экономическому росту, обогащают нашу культуру, но почему профессор Лоттер не пришел ни разу с кем-нибудь из своих солидных коллег? Бергу всегда представлялось: трое в тяжелых мантиях со свитками, перед ними три серебряных кубка (нет, наверное, уже перебор – просто три серебряных стаканчика) и он – Берг изящным движением вскрывает сургуч старинной бутылки. Когда Берг был маленьким, у них в доме висела похожая литография (репродукция литографии). Впрочем, этих так не шедших профессору друзей, Берг зачислил в разряд причуд большого ученого, и полегчало, в смысле, есть объяснение, значит, всё на своих местах. Да и само наличие «причуды», слава богу, пристойной и никого не обременяющей, добавляло профессору в его глазах. К тому же, получается, он не просто обслуживает, присутствует при ее «осуществлении», даже в какой-то мере соучаствует. Пусть экстравагантности во всем этом не хватает все-таки. Насчет самих приятелей господина профессора? Конечно, они помимо обычной вежливости, включающей обычные чаевые, относятся к нему с какою-то особой теплотой, но... что-то в них все же есть такое, пусть и не раздражает даже... Атак, он, в общем-то, к ним привык, можно сказать, полюбил за годы. Кстати, как давно они собираются здесь? Бергу казалось, что эти их вечеринки по пятницам были всегда. Целую вечность, может. Он знает, что и когда подавать, когда предложить им еще вина, а когда как раз и не надо. Безошибочно чувствует, угостить ли их чем-нибудь новеньким или же нужно то, к чему привык из них каждый...

Макс Лоттер – лет пятидесяти пяти, весьма большой, с большим лицом. Борода, призыванная несколько скрыть щеки, получалась двухцветной: седой и черный, этак чересполоси-

час он не может. Пожарнику надо бы дать, конвертик уже заготовлен. Он никогда не любил, не умел давать. За все эти годы чего он ни делал, за что он только ни брался: распространение, продажа журналов с лотка, охранник, риелтор. Сколько всякой херни перепробовал. У него, в основном, получалось. И вот сейчас свое дело. Если пойдет хорошо (а вроде должно), можно будет подумать уже о квартире, лет через пять (если честно, то через десять). У него получается, в чем-то даже в последнее время везет. Но дается это ему? Нет, ничего, конечно же, страшного, так, ценой перемолотой жизни, вообще непришедшего счастья. Себя самого не собрал – лучше, легче хотя бы, быть бездарным и сереньким... было б не жалко тогда. То есть нечего было б терять. А смешное здесь самое, что *и так* терять ему нечего. *Как всё-таки затхло, как тесно ему в своей же душе...* Соблазнить, что ли, Лору? Он всегда хотел преподавать. Но в Москве и без степени (не успел защититься вовремя, что само по себе, как известно, достаточный повод возненавидеть мир) будешь так, на подхвате и за копейки. К тому же учить этих милых студентов коммерческих групп (он однажды попробовал), что Парменида упорно именуют пирамидоном... Да и не в пирамидоне дело – жизнь не сбылась... Так беспощадно и просто. И чувства как-то вот измельчали. И чувство такое, что мозг стал сухой. А потуги бежать... бежать ли, начать жить заново – в пользу самооценки, не более. Боль? Он вообще-то привык. Да и нет у него этой боли! Только привкус себя самого, прогорклый, саднящий, до какой-то сухой слюны. Он теперь уже всюду, точнее всегда – занимается ль он любовью или гуляет один, если вдруг удастся вырваться, в том любимом своем сосновом лесу. Надежда? Это, скорее, от недостатка воображения. Сколько скопилось мелких обид, не то чтобы страшных, именно мелких, плевать. Но кровь давно уже стала бодряжной. Именно в мелких обидах и копится главная мразь. Упиваться всем этим? Противно. В последнее время к тому же и скучно. Остановиться не может. И эти стенания, видимо, тоже входят в программу. Понимание? Он всё понимает. Но это только лишь придаёт остроты его наслаждению-отвращением-к-самому-себе. Точнее, могло бы придать. Но вот всё-таки боль. Эта соломинка боли?! Сил на всё это давно уже нет. Он давно уже просто назло. Почему-то даже не стыдно.

Ангел. Огненный ангел. (Прокофьев иронически хмыкнул.) Жилы – по ним будто лава течет. Это и вправду лава! Жилы руки, что сжимает огненный меч – слабосильны железо и камень – и насколько убоги все наши виртуальные спецэффекты! Острие... на него указывает?! Лица ангела не было видно, так как крыша железная цеха ангелу где-то по горло. Он стоит как в воде. Счастье, что нету лица. И взгляд убивал бы, наверно, живое.

Ему, на полу распростертому (Лехтман сразу же сделал пометку: поправить стиль), Голос был или было Безмолвие – в захлебнувшееся сердце, выскочившее, вложено было знание: ангел спустился исполнить Волю – взять души грешников – *все*. Но ангел не знает деталей и знака на грешнике он не прочтет. Вот почему нужен был проводник на земле – выбор пал на него. Зла отныне не будет?!

Значит, свет? Свет, свобода? Господи, свет! История кончилась – только Бытие. Малою примесью, в самом деле, лишь примесью только – предвкушение мести, не кому-то, а как бы *вообще*. Нет, это будет не месть (он в себе подавил), но свершение *должного*... Свет.

Чтобы именно он – ничтожный, бездарный, затраханый жизнью, сам не лучше, не чище других (как ни смешно, понял это только сейчас), пытается тешиться местью ль, отказом от мести и стал вдруг орудием?! Ему непонятен смысл. Но где же конечному что разглядеть в Бесконечном! Боже, как хочется Света. Покоя и Света...

Себя самого растравить перечислением всех наших мерзостей, впрочем, хватило б вполне и немногих. Капли бы только хватило! Спрятаться за непостижимость Замысла, чистоту обретенной Веры. Выполнить всё из смирения или, напротив, нагородив силлогизмов... Если исполнить, себя принеся самим этим своим исполнением в жертву? Да! Это лучше, ежели в жертву. Можно? Конечно. Всё можно. Тем более что душа, дух тем более *этого всё же хотят*. Но он вот только не будет. Не зная даже, прав ли, неправ. Абсолют, тот самый, нравственный,

чего сейчас требует он: *согласья? отказа?* А вот не понять. Понимает, *Кому* отказал. Он мира *Его* не приемлет (вот вам цитатка!). Пусть в этом он как-то смешон, даже пошл. Но и *Его* преодоления этого мира – неважно, Замысел это или отказ от Замысла, тоже не может принять. Пусть и не станет надежды. Высвобождения не будет.

Вряд ли отказ есть попытка *прощения*. Кто он такой, чтоб прощать! И вряд ли он из любви... То, что раньше порою считал за любовь свою к жизни, тем более к людям – было поверхностно, в общем заёмно. Сейчас еще говорить о любви?! Из любви надо было б исполнить...» – Лехтман остановился.

– Послушай, Меер, – начал Лоттер, – почему твой герой принял на веру ангела? Вдруг это галлюцинация только, прихоть рассудка, причуда расшатанных нервов, искушение, в конце концов, и, кстати, совсем не божественное по источнику.

– Сама идея освободить мир от зла, – перебил Прокофьев, – свет от тьмы при всей ее правоте несет угрозу полноте бытия и потому, в нимбе её «источник» или же с рожками, для меня не так уж и важно.

– Неисчерпаемость бытия вряд ли сводится к диалектике Света и Тьмы, Добра и Зла, – ответил Лоттер, – да и сами Добро и Зло не сводятся к своей диалектике. Выбор Добра и Зла – только частность свободы и снимается в её глубине, то есть остается, умножает, усложняет себя на правах «частности», в истине и правоте «частности».

– Но именно с этими, как ты изволил выразиться, «частностями» нам жить, умирать и мучиться отсутствием смысла, – не дал докончить Прокофьев. – С ними и только. А то, что «выше», «глубже» их – извини, этого нет для нас. Наши крики туда не доходят.

– Я не сумел вообще-то, – продолжил Лехтман, – ответить *почему, во имя* чего мой персонаж отказался. Вот только, что у меня получилось: «За-ради того, что глубже, чем Он... Пусть даже этого нет. Нет. Нет. И нет. Так честнее. И чище, наверное, так... И человек проигрывает здесь... Нет и нет. И от тебя не требует... не искупает здесь ничего». – Лехтман закончил. Помолчали.

– Человек прорывается, да что там – пробивается сквозь Бога, – сказал Лоттер, как бы про себя, – зная, что *за* ни-че-го.

– Нет никакого *за*... – кивнул Лехтман.

– Но может, нет и Того, Кого он преодолевает, пытается преодолеть в этом своем усилии? – сказал Прокофьев.

– Может, – согласился Лоттер, – может быть, нет ни *той* стороны Абсолюта, ни *этой*, но в самом *прорыве*, затмевающим, искажающим, незавершенном – в нем бытие и *той* стороны и *этой*, независимо от их «есть» и «нет».

– То есть, прорываясь сквозь Бога (которого, возможно нет), мы выхватываем, – Прокофьев был вездлив сейчас, – восстанавливаем, делаем возможным (!) Его бытие, признавая, что оно «теперь» искажает самого Бога. И Его *отсутствие* тоже искажается здесь, между прочим. Да-да, *отсутствие*, которое, быть может, и есть Его бытие.

– Это свобода. Наша свобода перед лицом, – Лехтман подождал, когда отойдет принесший им кофе Берг, – Недостижимого...

– Пустоты, скорее, – ввернул Прокофьев.

– Пусть даже так. Из этой свободы (предельной? виновной? непросветляемой?) мой герой отказывает Богу? Признавая (как вариант) *Его* правоту. Это о границах выбора – любого... реальная цена выбора, без накруток. Из свободы, непосильной для него... может быть, благодаря непосильности... Из этой свободы – бытие. Но почему он именно отказывает?

– Это, скорее, приговор, нежели гимн, – буркнул Прокофьев.

– Наверное, – сказал Лоттер, – ты хорошо поймал на тональности. Бытие – искаженное, непомерное для тебя в этом своем заворачивающем пределе. Я не говорю «право» ли оно, «не право». Да пусть и не право! Все подпорки выбиты. Никогда не узнаешь точно, полет ли

это или падение, знаешь только – теряешь всё: истины, цели, смыслы. Теряешь надежду, веру, тем более правоту... и вечность теряешь... Обретаешь только лишь последнюю безысходность, непосильную для тебя, несоразмерную тебе (она Бытию соразмерна, но не тебе).

– Это Бытие, – оторвался от своих бумаг Лехтман, – открывается как противопоставленное Богу, независимо от Его «возможности», «невозможности», не отменяя их.

– Нет, с тональностью вашей, со стилем, я чувствую, бороться бессмысленно. Вы, судя по всему, нашли нечто вождевленное, – начал было Прокофьев.

– Хорошо, Ник, ответь мне только на один вопрос. Ты, вот лично ты, отказался бы от этой безысходности?

Прокофьев задумался:

– А ведь, пожалуй что нет, Макс. – И добавил: – Только если она и в самом деле есть. – И сам засмеялся над этим своим добавлением.

– Безысходность эта не может дать тебе ничего, ни тебе, ни Богу, ни истине, – Лоттер сейчас был взволнован, – но вне ее истина, смысл, любовь, мир, вселенная, может быть, Бог – Бог и Свет не имеют значения.

– То есть преодоление наше, трансцендирование Бога... все это может оказаться «в пользу» Его глубины? – спросил Лехтман.

– Это есть умножение Вины и только, – отрезал Прокофьев, – всё это очень мило, господа, но зло не преодолено, вы позабыли, кажется... А я бы, наверное, принял, выполнил, пусть даже если б и погубил свою душу (не этого ли на самом-то деле так пытается избежать твой герой, Меер?). Повел бы за ручку ангела по земле от города к городу.

– Кто-то вроде только что не хотел искоренения зла всего-то за ради диалектики? – удивился Лоттер.

– Не хотел. И в самом деле, не хочу. Но все равно принял бы. Исполнил. Почему? Ведь сам всегда говорил о наивной вере Ветхого Завета в победу над злом посредством искоренения его носителей. У тебя начиналось об этом, Меер, может, и надо было об этом! Но ты дальше по тексту как-то отвлекся.

– Я немного не успел с концовкой, – улыбнулся Лехтман, – там должно быть о тяге к жизни, что-то вроде: да, да, такая вдруг жажда жить! Но ведь и это не обязательно. То есть не в этом дело. Ему нужен не смысл, может быть даже, но подлинность... Вот последняя фраза: «Как отвыкли от воздуха легкие».

– Мои легкие действительно уже отвыкли, – засмеялся Прокофьев, – может быть, пойдём?

– Меер, надеюсь, ты помнишь правила нашего клуба, – поднимаясь, сказал Лоттер, – автор отныне обязан жить в по-о-льном соответствии с провозглашенной им максимой до следующей пятницы. Они рассчитались с Бергом. «Доброй ночи, господин профессор. Доброй ночи, господин Прокофьефф. Доброй ночи, господин Лехтман».

На улице было свежо, можно даже сказать, что холодно, как всегда бывает в горах по ночам даже летом. Небо поставлено на ребро, чтобы крупней получались звезды. Под ногами, в долине огни – город жжет костры своих башен, будто знаки тусклые посылает звездам. Может, сам есть звездный купол для созвездий, для каких-нибудь галактик, что ломаются себе в пустоту, как им, наверно, положено. Собственно, ради этого вида друзья и облюбовали этого, ничем особенно не примечательного «Миллера».

Вот они уже попрощались друг с другом. Лоттеру было до дома где-то десять-пятнадцать минут тихим ходом, а Прокофьев с Лехтманом сели в как раз подошедший трамвай, пустой, светом залитый, шестого маршрута.

Они ехали молча. Умели молчать друг с другом, без неловкости, напряжения, позы. Каждый на свой, разумеется, лад думал примерно о том, что сейчас, когда улочки города осво-

бождаются от декораций жизни, буднего дня, вообще человека – освобождаются так, будто в пользу того, что не дается дню, событийности, ходу жизни... В эту пору ты знаешь, вдруг знаешь пределы страсти, нежности, боли, тоски – их простые пределы... Истина? Не подряжалась нас утешать, не собиралась вовсе придавать хоть какое величие нашим попыткам мышления, нашей претензии *быть*. Ты знаешь, вроде бы знаешь Страдание... Это дыхание бытия как неизбежность поэзии, пусть не твоей, тысячу раз не твоей. Все-таки славно, что ничто ничего не значит – не может значить, и ^ничего не значит. Сейчас вот придешь к себе, будешь пить чай, на кухне при нижнем свете, а за окном будет ночь. Беспросветная, не сознающая себя, в законном своем преимуществе перед током времени...

Каморка консьержки была заперта. Ах да, фрау Штигель на днях уволилась, а замены пока что нет. Лифт поднял их на верхний этаж, оттуда по лестнице, слегка задыхаясь от съеденного и выпитого, да и лестница старинная, крутая, с высокими ступенями (то есть Прокофьев не счел за потерю формы), поднялись в свою мансарду. Дверь Лехтмана была первая в вестибюле. «Черт!» – с досады Лехтман дал кулачком в свою обшарпанную, чуть повыше замка, у человека это была б область печени.

– У меня всегда была мания, боязнь потерять ключи. Я от этого даже лечился у психотерапевта. И вот результат. Потерял, впервые в жизни, кстати.

– Лучше уж раз потерять, – успокоил Прокофьев.

– А консьержки нет. Запасные взять негде. Впрочем, дверь у меня больше так, для очистки совести, в смысле выломать можно запросто.

Прокофьев, конечно, позвал к себе. Вообще-то он предвкушал одиночество, но не оставлять же его в коридоре. И не ломать же дверь, в самом деле.

В квартире сюрприз – Мария. Прокофьев вообще-то думал, что между ними и в самом деле «все кончено». Она тогда ушла с таким грандиозным скандалом, что он просто не вспомнил о том, что она унесла, не вернула свой экземпляр ключей. И вот лежит в одних трусиках (да еще в каких) поперек его кровати, с бутылкой пива, худые, длиннющие ноги уперты в стенку «Привет, Прокофьев! Как, подписал постоянный контракт? (Дежурная шутка, юмор в самом бесконечном повторе.) Повернула голову – в комнате Лехтман, а у того и так глаза навывкате.

Улица, где жил Лоттер, была узенькой, мощенной булыжником (муниципалитет в этой части города вообще запретил асфальт), извилистой, в иных местах, казалось, можно встать посередине, раскинуть руки и он собой соединит две ее стороны, только пальцы слегка промнут рыхлую штукатурку стен (он, впрочем, ни разу не пробовал). Его квартира занимает половину дома XVII века (для этой улочки, наверно, он был нахальным новостроем, да ничего, срослось). Внутри, конечно же, все современное. Из столовой есть выход в сад, небольшой, но обустроенный Тиной таким образом, что можно не только работать, но и путешествовать. Стеной все того же XVII века он был отделен от окружающей реальности. В доме окна на улицу, но есть и те, что на горы.

Лоттер знал, что Тина давно уже спит. Он сам настоял в свое время, чтобы она не ждала по пятницам и спокойно ложилась. В прихожей встречает Хлодвиг – громадный, лохматый, как мамонт, сенбернар, килограмм на сто двадцать, наверно. Хлодвиг тоже знает, что Тина спит, и потому радуется, бесшумно: тычется в Лоттера мокрым, размером с кулак, носом, от радости не знает, какую лапу подать: левую, правую. В его глазах восторг и нежность. Весь полон им-Лоттером. Ему иногда даже было как-то неловко перед Хлодвигом – он же не может любить его *так*, а пес не догадывается об этой асимметрии. «Дух дома», – говорит о нем Тина. Лоттер воспитывал в строгости, никогда не баловал (пес и не стремился), не сентиментальничал, но давно уже не мог представить их жизнь без тихого звука шагов Хлодвига по комнатам, без его мирного храпа, когда он спит в гостиной. Если Лот-тер засиделся в столовой (он мог впасть

в задумчивость ни о чем и довольно надолго, где уж застанет), в дверях появляется Хлодвиг: будет смотреть с укором, покачивая громадной своей башкой до тех пор, пока Лоттер не пойдет в кабинет и не сядет за свой громоздкий, старинный, письменный. Тогда Хлодвиг забирается под и затихает, только глубоко вздыхает изредка. «Он приставлен ко мне, – смеется Лоттер. – Он мне послан, видимо». К тому же Хлодвиг был для него своего рода отдушиной от семьи, внутри самой семьи, не выходя.

Лоттер знал, что будет сейчас писать на дыхании. Потом уже будет править, уберет перебои, всю ритмию (или как раз оставит). А сейчас вот писать: «В комнате вещи немые, за исключением разве часов, да и то. Эта их немота придает дополнительную плотность материи воздуха комнаты, где-выключен-свет. Ритм материи нарастает, эта ее немая, жутковатая, в общем-то, мощь, что же, терпимо пока... Ночь выдалась густой, иссиней, дышащей. Ночь жила. Ее плоть, упругая, сильная плещет о берег, которого нет, и сущее мерно (пока что мерно) покачивается на этих волнах... Ночь только мордочка, рыльце космоса – бытиё на кончике... Значит, нам ни-че-го не надо?! На свободу выпустили *достижимое* наше, *недостижимое*... наше Бытие и наше Ничто. Мы в них затмеваем – пусть даже это и есть *их* бытие. (Только это бытие?!) Мы затмеваем. Скорее всего, упоенно. Наше знание о том, что Бытие, все, что *есть* – фрагмент того-чего-нет, не имеющий общего со своим этим *цельм*. А то недоступное нам, непостижимое, что позволяет им *так*... соединяет их *в*... и есть Реальность?! Если точнее – Ничто. Знание это не примиряет, пусть на нем и стоим, тем более что – больше, собственно, не на чем... Да нет, ничего мы не выпустили (если и вправду сейчас о свободе). Не обольщайся. Каплю нежности, что как будто дарована, разве ее удержать нам? Разве наш этот миг, что вроде бы глубже и чище, чем Время? Наш удел – пригубить. Как мы все же виновны.

Что Бытие? Только собственный “край”. Он повсюду, он “больше” Бытия. Мы, забывая об этом, узнать ли, припомнить не можем судьбы... “Край” везде. Центр – нигде. Чем еще возразить нам абсурду и холоду, ужасу липкому, пустоте и нелепице жизни? Чем нам искупить озарение наше и обладание наше; последнего, право, немного и первого тоже немного... Истины наши из слов – умирают, рождаются в слове. Пусть слова увлекательней сути. А суть, та последняя, та глубинная самая, чье пространство безмолвие, воздух, разверстая вещь, что в мгновенье своем больше мысли о вещи – она лишь взаправдашна?

Жизнь, чья сила в повторе, в занудном повторе, мы обставляем себя как квартиру бездушками всякими Духа и совесть свою мы стремимся задобрить страданьем. Нашим Страданьем. У Духа для нас игрушки найдутся такие – душу, бывает, за них отдадим. Какая смешная механика. Как просто растратить отпущенный срок, себя сознавая и мудрым и зрячим... Как сладко взять утешительный приз метафизики. А счастья просить? Или хотя бы тепла...

Что Бытие? С отвесного края Бытия прыжок в Ничто, чтобы выхватить... себя у себя? Ничто у ничто? Умножая немислимо непостижимое. Или просто прыжок в Ничто? Но Бытие наверное глубже своего становления. Зачем непосильное? Искаженность эта зачем? И мы здесь причем? Ни при чем. И потому сопричастны... Законы и невозможность законов – одновременность, само это “и” есть, вероятно, убежище, так вот, по сходной цене. Тем более, что это истина. Может быть, Истина даже. Всё наше. Всё в нас – не имеет вообще никакого значения. Это тоже свобода. Мы те, кто взыскует, скорее что неба и пустоты небес – абсолюта взыскуем, и с тою же страстью, с тою же болью мы жаждем *отсутствия* абсолюта... Что мы нашли? Нам непосильную целостность... в каждой капле бытие и Бытие... ограниченность Истины, может, еще предел, там, где вообще не бывает предела, где вообще он не вправе... Вообразившие, будто в самом деле способны любить. Время потратившие на бахрому-дребедень. Вещи вечности слеплены нами. Мы боимся, пожалуй, не смерти, но того, что не выдержим смерть...

Постигали. Не постигали. Постигали не-постижением. Всесилие и Смирение – поочередно надевали эти маски и, кажется, верили сами... Вырваться из самих себя, сбросить с плеч себя, как сбрасывают старый, тяжелый, осклизлый панцирь, надоевшую раковину.

Вещь, пустота, воздух – все они уже были друг другом. И бытие, небытие тоже были. И будут собою, стало быть. Как просто... будто ладошка, будто спазмы натруженной мышцы сердечной разжались.

Что-то так не дается Бытию!

Время чисто и бессмысленно. Любой звук, любой голос (если б они только были), опять же любая вещь – все они были б сейчас не только собою, но звуком, голосом, вещью ночи, то есть совпали б в пугающем тождестве со смыслом вещи, голоса, звука... Мысль о Ничто, отражаясь вот так от своего "предмета" непроницаемого, творит сейчас мир Бытия, тот, что есть... только этою ночью творит его более истинным и безнадежным... Этой ночью ты вроде бы в силах вобрать, выхватить в силах *всё*... *Всё и* только.

Не-при-ка-я-н-ность Бытия. Правота преходящего смысла. Ненужность всех наших мук – и читалось еще в небесах, что *сущнейшее, главное* (как еще назвать?) на самом-то деле *есть* и *сбылось*... Что же, звездам послать привет, ибо за ними, по ту их сторону нет ни материи, ни времени. И посидеть так в ногах у Мироздания, которого тоже нет. Ты сбиваешься со своих мольбы, немоты, молитвы...»

Тина встала, пошла на кухню, потом в кабинет к Лоттеру. Она всегда угадывает это его состояние. Села к нему на колени, обняла, прижалась, то ли пытаюсь спрятаться (так, наверное, прятаться можно только от «холода жизни», от чего-нибудь еще такого), то ли хочет его защитить, сама от чего не знает. Он слышит сейчас ее сердце. Вот щекой принимает дрожь ее ресниц, таких же пушистых, как в юности. Ее пальцы и тонкие эти запястья, этих вен метафизика.

Сидели втроем на ковре за бутылочкой. Мария, теперь целомудренно закутанная в прокофьевский халат (Прокофьев даже слегка умилился и не понравилось ему это свое «умиленье»). Мария смеется острогам Лехтмана. Явно довольна его присутствием, еще бы, так ей пришлось бы объясняться, мириться, просить прощения (она не любит этого страшно, даже фраза уровня: «Я погорячилась, хотя и была права» мучительна для нее). А тут получилось – *они* принимают Лехтмана *у себя*.

На Лехтмана молоденькая девушка (вчерашня студентка Прокофьева) действовала даже слишком бодряще. Он всё говорит, говорит, кстати, он сочный рассказчик, с даром видеть комизм бытия, создавать мимолетные образы мира из «подручного материала» для глаза. Вряд ли только Мария могла оценить, потому как действительность состояла для нее из «лицемерного государства» и «романтических бунтарей». Прокофьев пытался ей объяснить, что в мире есть и еще кое-что. Она и не спорила, но это все равно, что уговаривать человека слушать ультразвук, видеть в инфракрасном свете. Почему он вообще с ней встречается? Да, высокая, остроплечая, вообще вся какая-то острая, с ней интересно заниматься сексом (несмотря даже, что *финал* ей обычно не удается), но все это как будто не повод для длительных отношений. Впрочем, что здесь может быть длительного – она изредка появляется у них «на горе» между какими-то акциями, столкновениями, демонстрациями, что там у них еще бывает в «долине»? (Вот и сейчас у нее синяки на ногах.) Проживет у него дня два-три, и обратно, туда, в «долину», в мегаполис, в «действительность». Но и за это время он успеет устать от нее. Он вообще-то умеет рвать с женщинами, но здесь всё как-то откладывал – может быть, потому, что она медиатор – соединяет их «гору» с «дольным» миром? Эти внезапные появления, исчезновения и сама она *другом, чужая*. Инфантильной части души Прокофьева, видимо, нужна была тайна. И еще, как ни смешно, конечно, ему, несмотря на явную бессмысленность занятия, нравилось поучать, чуть ли ни «наставничать». «Если будешь продолжать занудствовать, – отвечала на это Мария, – нам придется расстаться, так, для профилактики инцеста». «Ну что же, занудство, – говорил Прокофьев, – в последнее время мне кажется, что занудство самое что ни на есть естественное человеческое состояние».

Было еще, между прочим, бесившее Прокофьева в самом себе, – ему льстила ее молодость. У него проскальзывало даже о каких-то особых правах молодости. Он видел здесь признак старения, предвестие слюнявой деградации, чуть ли не измену мировоззрению...

Почему она с ним встречается? Он для нее пожилой, чудаковатый док. «Интеллектуальная обслуга буржуа, которая все не может уяснить себе, что ее в накрахмаленном фартучке на белых помочах, в паричке, с принципами, окаменевшими примерно так в неолите не-наймут-уже-никогда. И работодатель этот по неразвитости не поймет тех гимнов, что слагает Прокофьев в его честь. Так что сиди на своем чердаке, прозябай». Она любила говорить ему это, когда у них бывали хорошие, счастливые минуты. Он был даже как-то польщен.

Раз он подслушал, ну как подслушал, просто взял параллельную трубку на кухне, ее разговор с подружкой (тоже бывшая его студентка). Подружка интересовалась, зачем ей этот старпер? Он уже выцветает и скоро догонит свой знаменитый жилет. Хотя, конечно, виагра всех равняет, да? Мария на это сказала, что Прокофьев чудовищно сексуален и не в одной виагре дело, он виртуозно превращает недостатки возраста в едва ли не главные свои преимущества. Сексуальность не в мышцах, не в члене – кое в чем поважнее, только что она перед ней распинается, ей (вспомнит пусть Alma mater) даже члена было всегда не понять. Впрочем, Прокофьев не исключал, что она догадалась о параллельной трубке и просто его поддразнивала. Интересно, есть ли у нее там, в «долине», кто-нибудь? Может, из «романтических бунтарей». Это лишь интерес, не более? Еще одно содержание тайны? Но даже если «долина» совсем другой мир (может, только она и мир), не луна же, в конце-то концов. Или медиатор имеет право? (Если разобраться, нужна ли ему вообще «долина», эти нечеткие, искаженные импульсы от нее? И так ли уж нужна «гора» – некий привет Томасу Манну, может, даже язык, показанный ему.) Он ненавязчиво выпрашивал ее. Вместе с ней смеялся над собственной «мещанской ревностью» – «почему не буржуазной, кстати?» – «для разнообразия». Но отвечала она весьма уклончиво, что-то вроде «может да, может нет», что для Прокофьева было доказательством, что вот именно «нет», скорее всего... И начинались эти расспросы, как игра наверное, но вдруг вот стало обжигать. И даже сейчас обжигало, когда связь уже провисла и разрыв был «делом времени», и только. А ведь лучше было б, если сейчас ее кто-нибудь увел у него, то есть само собою всё разрешилось бы.

Когда Прокофьев вернулся с кухни (уходил на поиски еды), Лехтман вошел в свой слог, неужели он не чувствует ее реакции? «Яблоко на скатерти есть следствие усилия мазка оранжевого. Художник задал форму материи, которая и есть оранжевый, случайный, именно случайный (!) цвет». – Мария явно уже обдумывала, как съязвить: «Вращение материи идет с такою мощью, радостью и легкостью, что бедолага-глаз не успевает, и яблоко ты видишь почти что неподвижным – этот выброс материи и света, пространства, смысла, духа, плоти, красок. Мазок здесь будто в самом деле волен причиной быть иль следствием, по настроению... А эта мимолетность вечности! Здесь выхвачена суть бытия, которую не выхватить – неважно, есть она, иль нет, но праздник есть, существование и сущность здесь не борются».

– Ты всё-таки утяжеляешь, Меер, – сказал Прокофьев, – бедный холст пожалуй что не выдержит.

– Может быть, – улыбается Лехтман, – но...

– Спор двух усердных мальчиков школы Лоттера, – наконец подала голос Мария, – подождите до следующей пятницы, герр профессор вас и рассудит. Кстати, кого из вас он чаще ставит в угол или куда там?

Вот такой, как будто невзначай, щелчок по самолюбию, разумеется, прокофьевскому (Лехтману-то что). Прокофьева не задело конечно, скорее, смешно даже. Да и щелчок, можно сказать, гомеопатический. Он вообще-то ожидал от нее чего-нибудь пооригинальнее, да и постервознее... «Э, голубушка, ты наше (совершенно случайное, между прочим) примирение

уже принимаешь как данность. Не рановато ли? Может, я-то еще и не помирился». Вслух же Прокофьев сказал:

– Ничего не вижу обидного в «школе Лоттера» (даже если б она и была). Может, даже польщен. Понимаю, конечно, школа эта не идет ни в какое сравнение с вашей партиейкой, или как там у вас?

– Ладно, Ник, не заводись. (Прокофьев сказал совершенно по-доброму, подчеркнуто, демонстративно, без раздражения.) Дай поцелую или, хочешь, скажу, что ваш Лоттер заkostenел в себе самом. Твердо уверен, что гений. Так и прожил жизнь в каком-то совершенно детском недоумении, почему другие этого не замечают.

«Так! Выставила его закомплексованным неврастеником. Он принял “школу Лоттера”, дабы показать, что не заглотив наживку, а она нахально так сказала – заглотив. И попробуй теперь поспорить. Хорошо еще, не заметила, что ему было приятно услышать про Макса (както в нем это всё-таки есть). А может, и заметила. Сейчас узнаем. Поступил самым примитивным способом (применительно к ней вообще-то всегда удачным), попытался спровоцировать ее на “политическом” пунктике, прикрывшись мягкостью тона. Вот она с удовольствием и дает понять, что имеет дело с примитивным провокатором. (Правильно делает, между прочим.) А затем не ввязалась в ссору, демонстрируя снисходительное превосходство. Эта ее имитация превосходства». К нему подкатило то его сладко-гадкое, глумливое, особенно если по пустякам (чем пустяшнее, тем слаще и гаже): «Раз уж не удержался, так вот, назло себе самому, пусть до самого дна, до полной бездарности». После, как правило, угрызения, головная боль, накручивание на себя до бесконечности и, что хуже всего, моральная правота, так сказать, «пострадавшего», но сам процесс... и это высвобождение в отвращение к себе самому... Кажется, это единственный вид свободы, доступный ему. (Вот опять пытается спрятаться за самоиронию.)

Он в себе подавил сейчас и не из-за присутствия Лехтмана, ему, как ни странно, не было стыдно перед ним. Почему-то в последнее время такая реакция на любую мелочь, исходящую от Марии, на самую ничтожную ерунду, чем она, естественно, и пользуется. Лехтман весь как-то скис. Снова стал усталым, борющимся с сонливостью пожилым человеком, почти стариком. Правда, уже скоро утро. Каморку консьержки откроют, а там дубликаты ключей.

Утром Лоттер перечитал написанное и начал набело: «Вдруг сознание: Ничто – никакого Ничто на самом-то деле и нет – только его бытие посредством нас, вещей в пейзаже, вот так, искажая сущность Ничто, которой вообще-то нет... *вне этой ее искаженности?* Мир на таких условиях? Убогих, если точней, дух захватывает... опять же возможность свободы, безосновности, может... масштаб для Вечности, Пустоты – их шанс... Ты пытаешься, обращаешь существование в бытие. Тебе самому ничего не надо? Тебе как раз ничего не положено, кстати. Вот и славно. Гармония, Красота – не декорации, прикрывающие абсурд и ужас, не инструменты с ними борьбы – они вместе с абсурдом, ужасом в общем, одном, скорее всего в ни-чем, что удерживает от философских систем, энтропии, что там бывает еще?... Очевидно, за-ради опять же Бытия, что, бытийствуя, не затрагивает той сердцевинной, той сути своей, которой (опять же вот!) *нет*.

“Уже нет”, “еще нет” как возможность (весьма приличная, кстати, можно сказать, респектабельная) уклониться от главного “*нет*” – пустяковина времени. На поверхностном “*есть*” всё и держится, включая победу Бытия над чем? Скорее всего, надо всем. С какого-то уровня это – забвеньё Бытия самим же “*устройством*” Бытия. Но метафизика есть лишь излом метафизики. Ты? Всё понимаешь сам и тем не менее вот живешь, *на всякий случай*, скорее... Отказаться? Было б банально (а банальностей мы, ну, конечно же, исходя из чистой эстетики, избегаем, в смысле, вообще допустить не можем). Твои отрицание и приятие тоже условны... может, и к лучшему даже, пусть, конечно, досадно. Чего добиваешься? Свободы? В этом во всем?! Зна-

ния? Веры? Предела? Не в этом, видимо, суть. Не в этом. Не в этом. Не в этом. Но тебе никогда не понять, что тебе не дается здесь... Сколько ни вглядывайся невидящими глазами...»

На веранде особнячка семейство как раз пьет чай. (Лехтман этой дорогой всегда ходит в парк. Целую вечность уже как ходит.) В этой нехитрой сценке – жизнь. Пусть сами участники – отец семейства, мать, две дочери на выданье (девятнадцатый век какой-то!) – в них как-то немного жизни, больше привычки, повседневности, добродетели...

Вот Лехтман уже на скамеечке (он всегда садится только здесь). Небо излёта дня. Горы, воздух, деревья, прохлада, прохожие – все это сейчас не нуждалось в метафоре, в подпорке знака или же символа... Он-Лехтман, сейчас во всем здесь. А жизнь протекает, проходит, вот так, сквозь него, иссякает, может быть, – это зрелище примиряет. Пусть и неясно, с чем. И неважно. Сейчас неважно. Душа знает вкус Пустоты, этот опыт ее... всё остальное уже подробности. Как все-таки славно вдруг от всего избавиться... ни надежды, ни света за-ради, ни прощения, ни искупления... и уж тем более не в пользу грядущего, не во имя свободы (не обольщайся), а *просто*...

**\\ Из черновиков Прокофьева **

Он пережил всех сверстников и, может, их детей, своих вот точно. Он из фрагментов, из деталей, иные из которых были подробны слишком, из каких-то укрупненных блоков памяти, когда хотел, сооружал довольно произвольные конструкции ушедшего бытия. Сам понимал как будто этот произвол – пока еще сознание сознает, что ум дряхлеет – и на том спасибо. Угасанье (какое слово книжное) как содержание жизни. Он притерпелся к болячкам, что причитаются ему по возрасту, иль думал, что привык. Он, в общем, не был мужественным в своем безликом и затянутом страданье. И притерпелся к пустоте (оказывается можно). А это чувство прожитой, им прожитой жизни в нем порой жило, пусть прожита бездарно – горечь тоже в тигле, где выплавилась подлинность бытия. Как все же густ осадок. Все цели, смыслы, наполнение дней, всё, что было содержимым, набивкой времени и было временем, – всё выпущено на свободу. Им выпущено. Пусть он не выше, теперь уж точно – ниже их. Свобода – что-то вроде светлой дали – тем достоверней, чем ясней, что для него ее и нет. Но есть минуты, когда он в самом деле благодарен за луч восхода и пятно заката, что на полу легло. За угловатость вещи... трепет листьев, запах дождя полуденного. За внезапный отдых от всегдашней боли. За сознание вечности и за сознание, что нет ее... За мысль, укорененную в пределе мысли. И за невнятный гул бытия сквозь стекла. За вкус пирожного, которое он мог себе позволить теперь так редко... Мир? Покой? Наверяд ли. Не дорос. А эта радость «глубже»... наверно, «глубже» их. Что значит здесь теперь судьба? Он снисходителен к тому, что нас ничтожит, пусть даже ничтожащее безлико, бессмысленно и слишком уж ничтожно и, в общем-то, вгоняет в ужас...

Этот запах воды даже снился в последнее время – запах глади пруда посередине раскаленного мегаполиса. Не понимает сам, почему сейчас именно, в преддверии осени. В разгар лета бывает, конечно же, жарко, но не настолько, чтобы утлый муниципальный пруд стал навязчивой мыслью. К тому же с ним как будто не связаны ни особые воспоминания, ни потаенные ассоциации.

Кстати, всё, что было, случилось за жизнь, по ее ходу, почему-то в последнее время не имеет настоящей ценности для Лоттера, настоящей власти над ним. Может, просто его былое не дотягивает до гордого звания прошлого, до существования своего в этом качестве? Или

же можно это себе самому зачесть как некое освобождение от прошлого, из-под его власти? Попробовать как минимум. Но не в прошлом, вообще не во времени суть. Время лишь придает форму бытию и страданию. (Не забыть записать, когда вернется.) Он всегда был довольно изобретателен, чтобы не думать, то есть было слишком много мышления. Кислый привкус усердно прожитой жизни. Нет, скорее, пресный всего лишь.

Вот он у самой кромки, выложенной искусственным камнем. Как пруд зарос за эти годы. Его воды, какие-то пыльные сейчас, отражают солнце как могут. Что же, лирика всё же... Мальчиком его водили сюда. Тогда здесь можно было взять напрокат лодку, и ему разрешали грести лет уже с семи, наверное. Разумеется, в лодке должен быть кто-то из взрослых. Вот именно, что кто-то. Лоттер вообще-то устал от самого себя. Хотя, если честно, привык (как ни банально) и к себе самому и к рефлексии собственной по этому поводу. Да и куда деваться? Творчество? Условно сказать, «вопрошание»? Лишь загоняли в ту последнюю немоту, пустоту пускай (чего стесняться), которую, правда, не променяешь на откровенье какое, вообще победу. Если б от этого было легче хоть сколько... Что он понял? Да ничего. Смысл, истина (даже если они и есть), фрагментарность ли, целостность, раскол, гармония, непостижимость Бытия и сама его неудача, милое то обстоятельство, что всё, что *есть* – «результат» искажения Бытием самого себя – *не-в-этом-дело* (пусть если даже глубже этого нет ничего и не может быть). В своих книгах он всё-таки не справился. Не смог. Там слишком много было ответов. Не его высота, планка (лучше всё-таки знать).

– Ах, вот вы где, Макс, – перед ним была Кристина, – вас, стало быть, тоже тянет сюда? – Она говорила так, будто речь шла, по меньшей мере, о родовом кладбище.

Сколько ни знал ее Лоттер, он так и не мог понять, зачем она представляется (если только действительно представляется). Кристина фон Рейкельн была «хранительницей традиций». Это настолько бесспорно, что ни у кого даже не возникало желания уточнить, а что же это за традиции такие, в которых только она одна во всем Университете и понимает. Злые языки говорили, что Кристина была секретарем *совета* с самого основания. Языки, конечно, очень злые, но Лоттер, наверное, не слишком бы удивился, если б Кристина сказала, совершенно спокойно, как она умеет: «Как же, как же, помню, в весеннем семестре у нас читал господин Декарт и ничего особенного, да и со студентами у него не сложилось, поэтому мы больше его и не приглашали». Впрочем, ее сила, ее обаяние были в том, что она как раз и не говорила. Спросить ее, помнит ли она открытие Университета (он старейший в Европе), она промолчит, но промолчит так, что спрашивающий не сможет полностью отбросить и самую романтическую версию.

Они с президентом Университета доктором Ломберт-цом неплохо дополняли друг друга. Он усредненный функционер от образования. Она олицетворяет многовековую историю *Alma mater*. И в то же время эта ее легкая ирония по поводу истории и традиции, да и на собственный счет, над этим своим «неподражаемым очарованием», – вот та малость, что обращает хорошее вино (это об Университете) в уникальное. Впрочем, это ее самооценка.

– Рад вас видеть, Кристина, – неискренне сказал Лоттер.

Ясно было, что помимо всего ему придется и провожать ее. «Чего это ее вообще занесло сюда? Тоже детские воспоминания? Вряд ли. Потому как в ее детстве этого пруда просто не было еще». Проводить Кристину. Это бесчисленное множество остановок на пути отсюда до вокзала. А потом, «на горе», бесчисленное множество скамеечек на коротком пути от вокзала до ее особняка. И в который раз она расскажет ему про свою трость, что была тростью самого Гете (молодого Гете). В который раз изобразит, как поэт во время свое опирался на нее, как помахивал ею при ходьбе, что с учетом возраста и сколиоза Кристины выглядит пародией на классика. Старая, немислимо старая женщина играет в старость.

Кристина, как всегда без предисловий, начала про университетские дела, обстоятельства, дразги (о чем же еще говорить?). Общение с ней не требовало от Лоттера развернутых фраз.

Кристина так была физиологически устроена, что если заговорит, то может лишь говорить, но никоим образом уже не способна слушать. Поэтому Лоттер успешно обходится сочувственными междометиями. И сейчас он пытается думать о своем, но чуткое, точнее, тренированное ухо уловило в речевом потоке нужные звуки: Прокофьевым опять недовольны. Странно, обычно это всплывает к концу учебного года, когда решается о контрактах, а сейчас перед самым началом? В прошлый раз Лоттер надавил всем своим весом, по сути, поставил им ультиматум: не будет Прокофьева, он тоже уйдет. Сам испугался собственной храбрости. Не против ли него-Лоттера здесь начинается какая-то, очевидно долгая интрига? Он, в общем, готов. Понимал и тогда, что, ему уступив, не простят. Прокофьев, наверное, повод. (Бедный Прокофьев свято уверен, что временный контракт – это для него что-то такое само собой разумеющееся, ионе каждым годом все приближается к постоянному.) Но это все дела факультетские. Причем здесь вообще *совет*? На днях жена профессора Крауза спросила Тину, чего это Макс так убивается из-за Прокофьева (в подтексте: какого-то), что вообще может быть общего между ними? Как Тина думает, нет ли здесь чего-нибудь такого? Интересно, Кристина просто так говорит или специально предупреждает?

\\ Из черновиков Лехтмана \\

Ночи августа. Звезды только. Звезды и хор. Хор цикад, в чье травянистое пение можно войти по грудь, как в воду, темную, теплую еще, выталкивающую, терпкую, дышащую... Падение звезды, будто Бог или как раз Ничто чиркнули спичкой по тверди, пытаясь высветить собственный лик, дабы взглядеться – опять не успели... Падение звезды наделяет душу каким-то особым покоем... Обещанье свободы? Свободы от наносного, сущнейшего, трепетного, главного... Отбыл повинность бытия... Мгновение счастья – пусть вот так, по касательной. Любовь? Ты не способен на вещи попроще – ничего, лишь бы только была, не для него пускай, не от него исходит... но вот любовь... С него достаточно сознания, что она есть, может быть, возможна...

Та последняя-изначальная, на самом деле нам вовсе не льстящая бессмысленность бытия? Здесь положено быть благодарным. Но он вот не может. Не получается у него стоять на цыпочках. Во всяком случае, долго. Ладно, будем учиться.

Весь день лазили по средневековым улочкам, Марии так захотелось. В парке попробовали сорта три мороженого. Мария испачкала носик кремом. Прокофьев специально ей не сказал. Ему нравилось так. Жаль, что не видят ее товарищи по борьбе. Марию окликнули. Совсем еще юная. Зовут Оливией (Мария их тут же друг другу представила). Миниатюрная, стройненькая, живенькая. (Оказывается, и это в его вкусе? Нет, все же пора взрослеть.) Второкурсница. С полчаса поболтали. Прокофьев заказал кофе и мороженое для Оливии. Марии, пожалуй, хватит уже. Но Мария была несогласна, потому нашли компромисс: взяли ей одну порцию на двоих с Прокофьевым.

Марии почему-то пришло в голову расхваливать его подруге как импровизатора:

– Только дай ему тему, и он накрутит такого, что задача будет одна – остановить.

– Тему?... Э... – попыталась Оливия, – пародия на профессора Лоттера. Да! Представим, наш Лоттер читает лекцию здесь, – развивала мысли Оливия, – на лужайке.

– Ну конечно, – хмыкнул Прокофьев: «Пава, изобрази».

– Изобрази, изобрази! – это уже обе хором.

Прокофьев голосом Лоттера:

– Не есть ли наши поиски Гармонии и лада всего лишь только наше самонадеянное, пусть вполне простительное (а что нам не простительно?) желание, чтоб Мироздание любило нас?

Взять этот парк и это небо, что здесь? – Прокофьев утрированным лоттеровским жестом дотронулся до руки Оливии.

– Неисчерпаемость бытия, – ответила в тон ему девушка.

– Что переходит осенью, – подхватил Прокофьев, – в бытия опустошенность. Все остальное – хитрости ума. Я, кстати, главный здесь по этим хитростям, и все права защищены. Конечно, взять опять же этот ежик (никакого ежика, естественно, по направлению прокофьевского пальца не было). Он умиляет нас своей возней в листве опавшей, но он на самом деле на охоте и для жучка или червячка он есть машина смерти, рок и доказательство неправильности мира – можно эту мысль, естественно, продлить до *выводов*. Но, думаю, для вас здесь будет слишком сложно. Гармония не принцип, не закон устройства мира, но им противовес и, в то же время, противовес отсутствию закона, с претензией все это в себя вобрать, прикидывается, что не хочет некой власти над вобранным... Вот эту мысль, – он пародировал сейчас лоттеровскую паузу, – я попросил бы вас законспектировать.

Девушки хлопали. Прокофьев услышал еще чьи-то аплодисменты, обернулся – Лоттер. Г ородишко-то здесь «на горе» маленький и парк здесь такой один.

– Господин профессор, – подхватила Лоттера под руку Оливия, – к нам, к нам! У нас тут только мороженое, но сейчас мы что-нибудь посущественнее.

– Что вы, что вы, – отнекивался Лоттер.

Мария, язва такая, молчала, никак не поддерживая усилий подруги. Ее молчание подчеркивало: да, случился конфуз, да, мы зло высмеивали и скрывать теперь бессмысленно. Прокофьев был уверен, что делает она это специально. Молчит так, будто была не дружеская шутка, а какая-то подлость.

– Макс, – сказал Прокофьев, – это моя Мария. – Прокофьева покорило от этого своего бездумного «моя».

– Очень приятно, – протянула руку Мария, – погода сегодня восхитительная, как вы находите, герр профессор? (Видишь, Прокофьев, стараюсь, сглаживаю. Уж как могу.)

Прокофьеву хотелось ударить стерву. Оливия официанту:

– Кофе, пожалуйста, бисквиты и ликёр.

Лоттер был, быть может, даже слишком (демонстративно?) приветлив, доброжелателен, раскован. Значит, все же обиделся. Да нет, он же умный и все понимает, просто дурная прокофьевская привычка рефлексировать на ровном месте (убеждай себя, убеждай!). Лоттер сам над собою всегда охотно смеется. Но осадок останется. Насколько он знает его, Макс внутри начнет что-то вроде: «Они правы, во многом правы. Во мне разглядели, как я не заметил сам, обольщался насчет способности видеть себя со стороны». И конечно, при всем понимании, при всей его широте ему неприятно. Он не позволит себе обидеться, но тень какая-то все же ляжет на их отношения. Если б Прокофьев показал ему самому (пусть в компании даже), все бы было отлично, а так получилось, что за спиной. Стыдно-то как. Он, что, ребенка обидел?! В самом-то деле. И не надо было Прокофьеву смущаться так, будто его застукали на непристойности, чуть ли даже не на предательстве. В общем, из ничего получилась какая-то гадость. В принципе можно все объяснить Лоттеру, но стыдно, и будет совсем уже глупо.

*\\ Из черновиков Лехтмана *

Всё – истина. Истина. Истина. Вне притязаний, потуг на синтез, преодоление, преобразование охватывается поэзией как бытие... и потому бытие есть, и ничто есть бытие – вне пустячка примирения...

*На полях *

Может, мы хотим от бытия слишком многого...

Предшественник Лоттера по кафедре. Женщина, приставленная к нему, как обычно, выкатывает кресло с ним на веранду, с трех до пяти. Это такой полуостров, черные волны сада

плещутся о... а тени пересекают. Он задремал, но ненадолго. Женщина, как обычно, зайдет пару раз проверить, может, он хочет пить или еще чего. Он не хочет.

Его судьба – быть учетной карточкой в алфавитном каталоге. Он, в общем-то, так и предполагал. Даже, когда задыхался от собственной творческой дерзости. Он все-таки как-то вот знал, что в итоге будет лишь каталог. А ему наплевать, но только когда он пишет, когда он в процессе. Потом муки творчества, как полагалось, сменялись другими: тщеславие, зависть даже к довольно пустому успеху, легкая, в общем, но все же обида на жизнь, что ему «не додала», и сознание предела, который, увы... Его наставник (портрет висит в Малом зале Университета у входа) как-то сказал: «Каталог тоже форма бессмертия».

Труды? Включены, как положено, в списки. Часть из них даже в том, обязательном для студентов первого курса. Но это все же не жизнь его текстов – подключение к аппарату дыхательному, к искусственной почке. Труп с принудительным кровообращением. Ему все равно. Теперь все равно. Он перерос свои книги. Собственно, чем? Жизнью? Наверяд ли. Она у него... если честно, она удалась ему еще меньше, чем книги... Может быть, этою веткою, солнечным бликом на дощатом полу веранды, прикосновением ветра к его волосам, отросшим за зиму...

Предоставленность вещи... Мгновение, когда все в тебе – все в тебе, но ты не начало ему, не предел. Все – твое, потому что как раз не твое. Все – *не* твое, потому и в тебе, а он ниче-го не может... истина сущего в каком-то подобье примиренности с самой собой... а ему и в самом деле *поздно* здесь.

В пять минут шестого женщина разворачивает кресло-каталку, чтобы поставить ее в небольшой гостиной. По заведенному у них, наверное, очень давно порядку, она поднимает юбку выше пояса. Он правой, сохранившей подвижность рукой, стягивает с нее трусы (он должен сам!), чтоб вот так, под коленки. Медленно, нежно гладит... от этого маленького, все-таки, для таких ее форм, ко всему безразличного лобка, и с поворотом вниз, по пышному целлюлитному бедру, и к ямочке на коленном сгибе, и вновь... Он так восстанавливает, удерживает прошлое, не дает ему сгнуться? Прошлое с женщинами, страстями, похотью, ложью, Любовями... Он не помнит уже событийности, путает имена и даты, смыслы тех любовей давно исчезли, даже если и были – но прошлое *есть*. Оно есть, пусть если и не для него даже – для бытия (теперь так!). Женщина? Она, видимо, была добрая и просто жалела его.

Родственники, однажды заставшие сцену, конечно, сочли это грязью.

Мария сидит нагишом, только черные чулки с рисунком до самых бедер, да «пиратская» бандана на голове. Стул повернут задом-наперед, так что маленькие груди как раз над верхней планкой невысокой спинки. Что-то такое вещает об «их борьбе». Знает, когда Прокофьев хочет, он не будет спорить, упражняться в сарказме, к тому же в ее арсенале есть такой (с точки зрения Прокофьева, запрещенный) прием – «не дать». Один раз она так и сделала, причем Прокофьев был привязан к кровати. Кричал: «нарушение Женевской конвенции!» Но бывает, что после упоенных ее монологов Прокофьев вообще ничего не хочет. Что ж, для нее это тоже вариант: можно поиграть и в другие игры... Но сегодня на нее особенно нашло, была в ударе:

– Нашей буржуазной системе удалось то, чего не смогли фашизм с коммунизмом, не говоря о всех прочих – обмануть миллионы, не на годы, десятилетия – на века. Те, конечно, обманывали: во имя Свободы, Добра, Справедливости создали великое рабство (видишь, я кое-что усвоила из твоих лекций), но они *и* обманывались (как, например, коммунизм), они *не знали*, заранее во всяком случае. Наша же система *только* обманывает: впервые было предложено во имя демократии, правового государства и сытной еды отказаться от Свободы, Справедливости и Добра. Буржуазная демократия, правовое государство, достаток впервые были объявлены единственной формой их осуществления, а все остальное торжественно проклято. (Здесь система обманула всех, кто обосновывал эти ее ценности, боролся и умирал за них.) Не спорю, это позволило неплохо пожить «золотому миллиарду» (если не задумываться, конечно,

за чей счет, если вовремя закрывать глаза и затыкать уши), но такого лицемерия, такой тотальной *правоты* системы, по сравнению с которой все, что *кроме*, выглядит ложью и блажью, человечество еще не знало никогда. И все это скреплено Цивилизацией и Культурой.

Все другие разновидности тоталитаризма, отнимая Свободу, в конечном счете, вступали в конфликт с Культурой. Наш буржуазный тоталитаризм поработил Свободу посредством Культуры и Цивилизации. Победил ее своим поклонением ей. В этом главная, самая страшная его сила. И самая страшная ложь. Мы, как ты, наверное, догадываешься, понимаем, что так просто это все не разрушить, но мы будем теревить, провоцировать это лживое государство, пока оно окончательно не раскроет свою фашистскую суть, и тогда... нет, конечно, миллиард жующих опять не заметит правды о себе. Но они предадут все свои права и всю свою демократию (об отсутствии которой все же догадываются) при первой реальной угрозе банковскому счету и телевизору. Они поверят тогда, что есть иные пути! Надо освободить Свободу – в том числе от Культуры с Цивилизацией. И тогда все вновь, но уже без лжи. С новым, если угодно, Христом, не загаженным Цивилизацией. И уже сейчас те, кто не побоялся бросить вызов растленному миру, плюнуть в лицо самодовольному человечеству, они уже свободны. У нас весело и угарно. Свобода – праздник, а не это занудство, что вы разводите с Лехтманом-Лоттером.

– Я одного не понял, там, внизу, в «долине», вы разбились витрину в парикмахерской господина Бувье во имя освобождения от Культуры или же от Цивилизации? А-а... вы, наверно освобождали месье из-под власти транснациональных монополий.

– В нашей борьбе, – снисходительно поясняла Мария, – нужна и энергия тех, кто не видит дальше того, чтобы просто подражаться с нациками, с полицией, и способности случайных, зашедших из любопытства, за романтикой, за компанию, на всякий случай. Мы знаем, куда направить, к чему приложить эти силы, исходя из общих целей.

Прокофьев смеялся так, что Мария остановилась.

– Девочка, ты не представляешь даже, насколько все это старо. Вы можете сколько угодно «плевать в лицо человечеству», разумеется, во имя его освобождения, но вы не посмеете возразить хоть слово собственному кружку, своей группке.

– Осмелюсь заметить уважаемому мэтру, что у нас нет вождей и нет подчиненных. Тебе трудно, конечно, это представить.

– Да какая разница, если все вы – рабы своей же идеи (пусть она тысячу раз названа будет Свободой). И не идеи даже – моды на идею. Моды на борьбу за нее. И цель одна – *не отстать*. Задача какая-то совершенно онтологическая, ибо отставший, у вас это значит выпавший из бытия, жалок в попытках догнать, в потугах заново *быть*. Но, минуточку, не отстать, собственно, от чего? От косяка, гурга, стада – стадом ходят к водопою, но не за свободой! То, что ты (как тебе кажется) из тех, кто определяет саму моду, ровным счетом не меняет ничего здесь. И в самом этом своем «определении» моды ты будешь рабски следовать ей. Ты всего лишь воспроизводишь эту вашу коллективную правоту и ваше же непробиваемое самодовольство. А самодовольство, милая моя, всегда банально, сколько ни накручивай на него романтики.

– Кто-то, помнится, совсем недавно говорил, что мы во многом правы? – Мария знала, что у нее прекрасно получаются «ядовитые интонации».

– Да неважно, «правы» вы, «неправы». Ваше мышление по устройству своему, по «физиологии» не видит, не знает, не хочет знать полноты жизни, неисчерпаемости мира, неопостижимости, неисчерпаемости. Для вас нет ароматов, шорохов, красок (Мария презрительно кривилась) и потому: пред чем вы сегодня преклоняетесь, чему готовы жертвовать, за-ради чего мечтаете переkreить реальность, будь это ненависть, любовь, справедливость, опять же свобода – без разницы! Вы производите только каких-то глиняных божков, ревнивых и злых. И все же комичных в своем непробиваемом самомнении, в своей привычке диктовать «остальному человечеству», презрительно цедить свои истины.

– Ты, как всегда, цепляешься к мелочам. А неинтересно ли тебе будет узнать, чем мы готовы жертвовать? – спросила Мария брезгливо.

– Неинтересно. Эта ваша безответственная и самодовольная игра в слова: «демократия – худший вид тоталитаризма», но ты, дорогая, кидаешь камни в твердой уверенности, что тебя выпустят из участка утром. Говоришь «фашизм», но над тобой не надругаются в участке. «Лицемерная свобода слова». А вот подолби мерзлоту десять лет кайлом за неудачный вопрос на семинаре по истории партии, за обсуждение с друзьями: «Может, Каутский был в чем-то прав?»

– Ну и к чему столько пафоса и слюны?

– Да тошнит уже от этих ваших ярлыков.

– Не возьмешь ли труд опровергнуть, открыть нам глаза?

– Я не собираюсь переубеждать вас, бороться с вами, разоблачать вас на *вашем* языке. Понятно? Это уже было бы вашей победой.

– Очень ты нужен. Кстати, Прокофьев, ты у нас вообще-то наследник великой культуры, что искала Добра и Страдания, а проповедуешь какой-то мещанский релятивизм. Правда, со страстью Аввакума (я не перепутала ничего?).

– Наша культура во время свое, во имя, за-ради Добра слопала свой приплодец цивилизации гибридный (жрала кусками, рыгала на пол), свой высший дух высвобождая – вдребезги себя как культуру европейскую, вдребезги себя как православную... и такие пошли чудеса...

– Может, все же не стоит читать мне заново свой лекционный курс? Если это и было – это прошлое всего лишь, не более.

– Но свободы *там* до сих пор нет.

– Наконец поняла! Цивилизация для тебя просто меньшее из зол. По малодушному страху, принимаемому тобою за мудрость (как же еще?!), ты цепляешься за дырявый, густо заляпанный подол этой милой старушки, что в последнее время все чаще заговаривается, страдает недержанием и, кажется, сама уже не слишком верит собственным галлюцинациям насчет величия. Прячешься в этих складках. Ну и как запашок? И вообще?

– Понимаешь ли, только цивилизации по силам такая штука, как обуздание и Дьявола и Бога (что, видно, все же лучший вариант вот этого не лучшего, конечно же, из миров). Отсюда нечистота иных ее корней (не говоря о побегах). И за это мы платим, и будем еще платить. Отсюда ее *неполнота* (примерно так), она затмевает в себе... и собой затмевает в духе, душе, культуре... И они затмевают в ней. Но человек в своей попытке *быть*...

– Обретает что-нибудь сказочное?

– Всего-то свою несводимость к этому... к этой ситуации, шанс на уход от собственных истин, смыслов, целей, из нее «растущих». И потому возможность (может быть, дар, счастье) созерцать потрясающую *сложность* цивилизации.

– Так, началось!

– А ты занимаешься пошлым отрицанием реальной свободы, потому что она, на свое несчастье, не совпадает с твоим идеалом свободы.

– Да уж, не совпадает.

– Этот твой идеал просто-напросто глубоко презирает свободу, которая есть из-за противоречивости, несовершенства, ограниченности этого «есть». Но свобода-то есть! А для тебя ее нет. Таки быть, скажу по секрету, – для тебя, Мария, всегда будет «нет». Вот почему тебя так раздражает цивилизация. Но, девочка (Прокофьев взял тон, который, как он прекрасно знает, всегда бесил Марию), девочка моя, как хрупок лед под нами всеми, и куда ни встань – всюду кромка. Так что не надо б по ней каблучком. Да-с. Не надо!

– Можешь, конечно, фиглярствовать (что с тебя взять), но наша идея свободы не просто выстрадана, она результат мышления.

– Конечно же, лучших умов?

– Того самого, свободного мышления, которому ты всегда так многословно молишься. Но почему-то вот перед зеркалом только.

– А вот это уже не смешно. Ваша Идея сама диктует вашему мышлению, определяет темп, страсть, эстетику, ход, ставит границы, наказывает стеклом, дает сахарок с руки. Мышление как форма такая энтропии. Не будь идеи, вы бы вообще не мыслили.

– Шут! Петрушка! Паяц! – Мария, видимо, слишком долго сдерживалась, – Паяц! Паяц! – вскочила, стул повалился набок. Бросилась натягивать узкие джинсы поверх этих своих чулок.

Прокофьев понял, что он вдруг как-то вот стал свободен от нее, от этих отношений... Это вряд ли уже разрыв (что он, себя самого не знает!), но ему стало так легко сейчас. И все, что было тягостного, невыносимого, вдруг сделалось смешным. И он сам – сам... ему всегда казалось, что он знает правду о себе, это, в общем-то, так, но правда эта вдруг оказалась еще и смешной. И слава богу.

Мария хлопнула дверью, даже не поправив толком майки.

\\ Из черновиков Лоттера \\

Протекание времени густого, венозного, перегруженного собою... иссяканье (?) его мутноватого, превзошедшего память, несущего пестрый хлам. Миллиарды лейкоцитов-глаз затянута пленочкой тоненькой, как у птенца или ящера... Вымывание напрочь *главного* – семечка семени, сущности сути до белизны Ничто. До

Бытия. Даже пусть *вымываемое* отсутствует, может быть, так – изначально.

Много ли это меняет в чистоте вины?

Эти вещи Земли и Неба растут здесь давно, их сосуды сплелись. Общая кровь делает вены иссиними. Общая кровь делает мышцы вещей пригодными к лепке из них неких образов Вечности, образов Истины – неких подобий. Общая кровь намывает бессчетные бляшки и тромбы.

Ломкость звука в пространстве.

Плоскогрудая реальность дохла сырьем, слякотью, мартом, разведенным пожиже бытием, рыхловатым грядущим, прошлогодней травой на ломте непроснувшейся почвы, девственностью астенической невостребованной, обновленьем, свободой, небом.

Сдвиг на какое-то еще одно деление неприподъемного колеса под собственной тяжестью.

Это сползание дня. Люди. Вечер. Усталость.

Авто льют свой желток в темноту – омлет из пространства. Снег повалил было хлопьями, стал овалы рты затыкать снегу растаявшему, но вскорости сник. Снова морось. Всегдашняя смесь испарений с асфальта, тьмы ночи и света этой же ночи, что льется из окон, вообще отовсюду. Эта смесь – содержимое взгляда, заполняет его целиком, забивает донельзя. Привычное блюдо для глаза... Жизнь стоит здесь серебряной ложечкой, да только не взбить: если что колыхнется, то вряд ли достанет до стенок, даже если б они и были...

Отпадение вопроса о Смысле...

Тысяча ртов сосет темный Космос. Натруженность этих сосцов. Что же, хватит на всех Пустоты. Только не надо, бога ради, не надо дежурного света Великих Законов, торжества справедливости вырубленного, победного шествия духа на тренажере специальном (крути сильнее педали) и рая, усердием выслуженного, тоже не надо.

Это раскрытие пор нашей шкуры.

Час, приближающий близость. Час теней в безголосой квартире. Час штор. Вверх поплывшего платья. Возникшего света – тихого света тела, в той темноте, где вещи сейчас существуют, лишь если на них попадает хоть что-то из сброшенного с *нее*. Мир – не существует вовсе, от этого став невысказанно глубже, наверное, глубже и целостней – только его бытие.

Час бессловесных губ. Час разведенных ног. Лицо *принявшей* тебя. Тяжелые яблоки глаз под кожей закрытых век – два солнца зашедших. Сами веки закрытые – на левом жилка пульсирует синим. И рот, в уголках сейчас по морщинке, по паре складочек, перекатывающихся – опрокинутый рот раскрытый дышит с силою, мерно. Силу знает и ценит, и длит. Так *принимают* жизнь. Так не бояться б смерти.

Бездонность мгновения? Правота цикла? Величие тока? Что же, действительно. Но постижение сути, в конечном итоге, приводит к пригоршне мелочи, не без брезгливости сброшенной тебе каким-то громадным меняльным автоматом.

Полнота предоставленного тебе в твоей доподлинной доле плюс что-то сверху, довеском. По приближенью к *последнему*, вцепляешься во вневременное или как раз во Время, чаще во что попроще. Так ребенок зажмет в кулачке игрушку или же тряпочку просто, что вроде как пахнет домом, защищаясь от ужаса процедурной или зубоврачебного кресла.

Неимоверность Бытия. Незначительность новая Целого. Чистота изначальная Формы. Невозможность Искупления – устройство всего такого, что его *нет вообще*. Выводит ли это к сути вещей или к Богу? Не есть ли прихоть, похоть свободы сорвавшейся? Ее упражненье в занудстве? Не есть ли просто тоска мысли себя самое переросшей? По силам ли это вещам? Нужно ль Богу?

Уже не важно.

Все участники действия сознают вину, принимают предел, не питают особой надежды, иногда излучают свет.

Вы-сво-бо-где-нья не будет?!

Что же, пускай, то есть пытаюсь быть благодарным. Хотя бы за знание...

\\ Из дневника Лехтмана \\

О, эти осенние дали застывшие. О, эта внезапная обнаженность творения и Бытия...

Половина жизни прошла, прежде чем он увидел, что был комичен, сознавая себя совестливым, ранимым, тонким, так сказать, «обостренным». Дело в том, что сознает он себя таковым потому, что обостренно чувствует свои комплексы, свои болячки, свои страхи, вообще себя. Он раним и тонок, когда «общая несправедливость мира» наступает ему на ногу или же собирается наступить. Ну и что, казалось бы – заурядность, не более. И вполне простительно. И уж точно, что было время привыкнуть. Но разве может быть что комичнее заурядности – комичнее и вульгарнее?! Все понятно, конечно же, узнаваемо, как-то даже уж слишком, но чтобы понять это все про себя, Прокофьеву в самом деле понадобилась половина жизни, что еще комичнее. Но этим комизмом он не стал бы бравировать, даже перед самим собой. И самоирония здесь была все же самообманом (пусть это, видимо, лучший вариант такового). Он не любит себя, но, в то же время, при всей искренности сего чувства, лишь имитирует нелюбовь к себе. То есть отравляет собственную кровь (эти токсины и в самом деле зловреднее от того, что он «все понимает»). Насколько он помнит, всегда мучил, если точнее, мелочно мучил близких.

Так выходило в силу масштаба, потому что его не хватало мучить серьезно, «по-крупному». И за-ради чего? У него как-то вот получалось, что для «глубины», будто это чин какой, звание, что ли – конечно, звание! Но он же знает (всегда каким-то краешком знал), что «глубины» как-то и нет – не получается у него. Стало быть, он это все *бескорыстно*? То есть в пользу желчи. Раскаяние? Наверное, это так маскируется его жалость к себе самому, не более – в такой вот пристойной хоть сколько форме. *Но ведь жизнь действительно не прожита*. А он наслаждается бездарностью собственной, придуманными унижениями, раздутыми обидами – наслаждается так, будто впереди у него еще уйма времени.

Он сам? А вот и не удалось прорваться сквозь себя, да что там, просто бы выползти... чтобы так вот лежать опустошенным, бессильным, свободным на самой кромке, на самом краешке.

Отвращение к себе как после рукоблудия. Нет, конечно, когда занимаешься *главным*, это все ерунда, незначимо, вообще уходит. Но нельзя же всегда заниматься *главным* (пусть даже здесь, «на горе»). Так, наверное, могут только самовлюбленные пошляки. (Вот, хотя бы есть доказательство, что он не самовлюбленный пошляк. Единственное, кажется.) Он за *главное*, может, еще и не брался, себя самого для него не собрал пока. А вот уже и прячется за него. Заслоняется им... от самого себя. Да ладно-ка, брался! Конечно же, брался – время было (так уж сложилось удачно, можно сказать, что счастливо). И что? Что! Вот то-то же.

Он может похвастаться только временными, тактическими победами над своими демонами. Да и демоны какие-то уж очень мелкие у него (перед людьми неудобно даже). И больно, и стыдно... во всяком случае временами... А суть, самую суть... суть и целостность жизни *он выхватил*. Это не искушает. И не должно искупать! Но это теперь для него важнее судьбы... в конечном-то счете поважнее будет воплощения *выхваченного* в его – прокофьевском творчестве со всеми обретениями-потерями воплощения, с претензиями, амбициями, свербящей неудовлетворенностью.

Он всегда считал (наверное, самонадеянно), что выдержал бы страдание – любое страдание. Если бы в нем был *смысл*. Но смысла как-то вот не было, наверно вообще ни разу, во всяком случае *пока*... Да и страдания в общем-то не было. Так, обстоятельства, сцепления обстоятельств, поступки, да, было как-то вот довольно много поступков. Что для него было непреодолимым, собственно? Да практически все. А мелочность, безликость, ничтожность непреодолимого – это уже портит душу, забирает воздух у тебя, отнимает те крохи подлинности, что тебе причитаются как бы. Он заложник, и даже не жизни, а какой-то требухи жизни. Нет, конечно, он признает право жизни на торжество, на тотальность, на самодовольство... и признает ее смыслы – *ему б на свободу!*.. Если б все это ничтожило его, была бы все-таки ясность. Но как будто и не ничтожит... и, в самом деле, соразмерно ему, что уже и обидно. Если б, к примеру, Рок, Законы Мироздания – возвышало б, наверно. А тут вообще не пойми что, и не абсурдность даже...

Прокофьеву всегда представлялось, что у него выйдет бессмысленная, непристойная, может, ничего не добавляющая, какая-то *необязательная* смерть...

Берг мгновенно, будто в одно движение убрал тарелки, вообще все лишнее. Выставил рюмки под коньяк и, с каким-то домашним, как только он умеет, поклоном, удалился.

– Вещь, – рассуждает Лехтман, – будь то церковь ли, дом, любая вещь – Ван Гог, все ее измерения, всю материи толщу вывернет вдруг, разверзнет на плоскости неба в жажде сушнейшего неутоляемой, так пальцы нервные, бывает, чистят плод, да вдруг и вывернут всю мякоть наизнанку. И эта вывихнутость сущего, она поглубже его единства с сущностью, поглубже смысла сущего.

– Но это у него как раз без декораций неба, – говорит Лоттер с живостью, – точнее, без посредничества того, что видится как звездный свод. Здесь вдруг условность, промежуточность Законов Мироздания.

– Здесь фоном Бездна, – Лехтман кивает, – причем неважно, ужасная или светлая. Космос? Хаос? Бытие хоть как-то себя удерживает своими скользкими подошвами на самом кончике, на самом острие самого себя.

– Я, может, уже не помню деталей, – говорит Лоттер, – картина, где Земля и Небо единую такую образуют твердь у него. И эта твердь как раз стораёт (себя сжигает?!) в огне и вихрях своих же солнц. И на холсте как раз крушеньё равновесия – Гармония и Целостность захлебываются. Всё-всё, что есть и каждое – они вдруг в самом деле вывихнуты из пустяков существования и сущности *в* Бытие?! *в* Ничто?!

– Бытие у него не может быть домом, да и вообще ничем – все теряет за-ради глубины, – говорит Лехтман.

– А мне все-таки ближе портрет доктора, – улыбается Прокофьев. – Застыл, задумался, забывши снять картуз. Глаза под выцветшие.

– Но фон и здесь тот самый, синий, – сказал Лоттер. – Он приглушен здесь только. Бездна плещет. Плещет мерно. Бессмысленно и мерно.

– Вот именно, что приглушен. – Прокофьев сказал сейчас так, будто спорил. – Приглушен, обуздан кистью.

– И все-таки смывает, пусть исподволь, но беспощадно, в конечном счете.

– Его последняя картина, та самая, – это уже голос Лехтмана, – пшеничное поле, дорога сквозь поле и так далее... Как жирен цвет. Как невозможен воздух. Жизнь, смерть в какой-то ужасающей своей *незначимости*. Бытие ничтожит себя, такими жирными кусками глотает, давится. Может, это единственный случай в живописи, – Лехтман запнулся, подбирая слово, – случай виденья, превзошедшего истину... Да.

Помолчали. Потом обсудили качество коньяка.

– Я помню все эти картины, – начал Лехтман, – помню, что пережил, когда перед ними стоял. Помню, что ездил специально к ним, а обстоятельства этих поездок, время... Я вообще ничего не помню из своей жизни до «горы». Картину Ван Гога вижу как сейчас, а жену свою вот не вижу, даже не знаю, была ли жена вообще. Я как будто очнулся в какой-то другой реальности – чувства, мысли, душа мои – я точно знаю и комплексы все, фобии мои, но все это изолировано как будто от событийности, обстоятельств, судьбы, памяти просто, даже от отрывочных воспоминаний. Вычурно как-то, да? Я, кстати, привык. Как ни смешно, но, оказывается, можно привыкнуть.

– Это аллегория? – насупился Прокофьев.

– Я посещаю психоаналитика, – ответил Лехтман, – мы с ним, конечно же, продвигаемся, но чувство такое, что *не надо...* или *пока* не надо. Откуда в моей голове это *пока*, не знаю. То есть я делаю все добросовестно, под руководством замечательного доктора, сознавая при этом, что я не должен, не вправе даже...

– Меер, ты не помнишь, случайно, – вкрадчиво поинтересовался Прокофьев, – в прошлой жизни ты был беден или богат?

– Не помню, но судя по привычкам, скорее беден, хотя у богатых бывают свои причуды, – все трое рассмеялись.

– Я написал, – раскрыл свою папку Лоттер, – как ни странно, получилась пьеска. Название (пока еще черновое) «Доцент Фаустус». Два персонажа: П. и Д.

– Ну конечно, – Прокофьев подмигнул Лехтману, – как же иначе.

– С вашего позволения. – Лоттер разложил листки:

«П.: Я вдруг перерос свои тексты. Все. В том числе еще не написанные. Что дальше? Я сам стал текстом. Сделал, пытался сделать текстом саму свою жизнь. Я был прав. У меня получалось. Но эта пустота...

Цели, истины, смыслы «просто жизни», а я до них не дорос. Я не выше, скорее ниже жизни. Я честно пытался увлечься жизнью. Но эта пустота... Деваться некуда. И жизнь права. А я чуть руки не наложил на себя не так давно.

Д.: А вот и я! Наверное, как раз. Точнее, если я, то значит, наступил «как раз». Ты знаешь, как от века изображается мое явление. Весь антураж ты тоже знаешь и посему, давай-ка кое-что пропустим, но сути не изменим ни на чуть. Добавим разве капельку насмешки над традицией. Да, да, введем иронию, так, духу времени в угоду. (Пусть это, скажешь ты, опять-таки не ново.) Что? Да, конечно, понимаю – вопрос моей реальности и твоего здоровья? Оставим это на потом, здесь измениться может многое по ходу разговора.

П.: М... м... Чего ты хочешь, Д.?

Д.: Да все того же, П. Конечно же, того же.

П.: Неужели?

Д.: Я, знаешь ли ты, не гоняюсь за оригинальностью (в отличие от некоторых). Я просто предлагаю сделку. Условия тебе известны. Ты жаждешь, требуешь подробностей? Ведь я, как говорят, ха-ха, таюсь в деталях. Но ты в бессмертие души не веришь, и, значит, есть надежда, что вообще получишь *даром*. Вот тут пожалте подпись, если можно, паспорт, копию страховки. Все, как положено, в двух экземплярах. Когда подпишешь, сможешь все плюс славы и величия пустячок...

П.: Послушай, ты прекрасно знаешь, что мне известны...э... все результаты этой сделки.

Д.: Поэтому я и пришел.

П.: Ты хочешь, чтобы, зная все, тебя я выбрал?! Это слаще?

Д.: Вот взять, к примеру, твой коллега доктор N все подписал не глядя за должность замзавкафедрой. Ну, я еще бы понял, если б за завкафедрой... Такие души (как тут у нас один сострил) мы принимаем оптом.

П.: Ты, кажется, мне льстишь?

Д.: Единственно, чтоб дать тебе возможность поймать меня на лести, но это, так сказать, для разогрева. А как насчет того, чтоб вырвать тайну у Мироздания, открыть (создать!) невиданные ранее пласты реальности, подняться в сферах духа туда, где смертный ране не бывал?! Ты извини за стиль, но как тут не съязвить, да и тебе так легче заглотив – тебе, не подписавшему, пока.

П.: Блефуешь, Бес, иль как тебя? И будто бы в твоём кармане такое есть, что по сравнению с ним все остальное – прах.

Д.: Ой, что ты! Что ты! *(делает вид, что сейчас вывернет все свои карманы, которые будут пустыми, если вообще не дырявыми. Вдруг пауза, на протяжении которой он пристально смотрит на собеседника)*. Мы, кажется, уж начинаем торговаться? Пойми, меня ты должен выбрать бескорыстно. *(Меняя тон.)* Я знаю все, ты – лишь кусок, частичку.

П.: Но нового ты ничего не предложил.

Д.: Я наделяю силой. Ты творишь. Всего лишь... Ты красоту творишь и, если хочешь (кто же против), пожалуйста – свободу и добро.

П.: Стоп! Вот оно! Тебе нужно орудие для твоего творения? Ты, очевидно, хочешь...

Д.: Да все того же. Ну! Того же, что всегда. Не меньше и не больше. Спешись, мой друг, ты в щелку этики забиться, там спрятаться от истины. И этот пафос, стыдно, право. А в ересях меня винишь напрасно. Я ортодокс. *(Меняя тон.)* Мне просто все равно. Вот мир – преобразай, спасай, исследуй, смирайся, созерцай, немей иль в новый сплав все это слей – *мне все равно*. А почему все это так? Когда подпишешь, может, разгадаешь.

П.: Допустим, ну а дальше?

Д.: Разве мало?

П.: Скорее много. Я столько даже не просил. Все остальное – следствие и частность... Но все-таки, что дальше?

Д.: Я мог бы выдвинуть условие и запретить, ну, например, любовь. Но это было б, согласишься, жестоко, а я вполне гуманный черт (*в сторону*: а что касается любви... ну не дано тебе и так, зачем же запрещать).

П.: Но даже если после смерти пустота.

Д.: Но мучает она тебя при жизни.

П.: Скажи, зачем тебе моя душа, раз ада нет?!

Д.: Так ты согласен?

П.: Я не могу.

Д.: Но можешь ли сказать, что ты *не хочешь*?

П.: Теперь, наверно, да. Понимаешь, это *моя* неудача. И мерка эта тоже *моя*.

Д.: Я предлагаю творчество, свободу. Причем *твою* свободу. Твой дар (усилен мной стократно), помноженный на глубину страдания, создаст мне неподвластное. А Небо... в последний самый миг, за все усилия, страдания твои тебя мне не отдаст (ты это знаешь). Расторгнуть вправе договор небесный арбитраж.

П.: Я не хочу, а так – тем более.

Д.: Ну, это, брат, гордыня, что подтверждает – мой ты, мой. И в этот простенький силочек ты, видишь сам, что угодил легко. (*Меняя тон*.) Я понимаю, ты считаешь, что не оттуда, дескать, благо, не из того источника. А может, так и надо, когда оно доподлинно?!

П.: Я этого не знаю. И не дано узнать. Я не хочу, но в полноте не-знания.

Д.: Ты думаешь переупрямить Мироздание? Ах, если бы отбрыкивался только от меня (действительно, что я?). Но твой отказ от диалектики Добра и Зла.

П.: Мне кажется, что я своим отказом как раз ее осуществляю. Пусть это все, конечно, так... детали, пустяки конечно...

Д.: Себя считаешь вправе переступить через бытие в его неисчерпаемости? Неужто так ты дорожишь своей душой опустошенной?

П.: За диалектику я, знаешь ли, спокоен и за Добро со Злом. И даже за Добро. От Вечности, наверно, тоже не убудет. Хотя и не прибавится.

Д.: Ты, кажется, и вправду возомнил освободить свободу?

П.: Вряд ли. Я, в общем-то, не понимаю этих слов. Я только принимаю (куда ж деваться) все то, что для меня в свободе непосильно, все то, что не доступно для меня в Добре и Зле и в Вечности, в Бытии – но лишь как частность, часть, в пределах *части*, вне всяческих условий, вне пустячка победы, не-победы. Ты здесь не нужен.

Д.: Ты говоришь «как часть»? Прекрасно. Вот только Целого и нет. И не было и нет.

П.: Это вряд ли изменит что. Хотя, конечно, если это правда – жаль. (Я мог бы здесь, наверно, спрятаться в непостижимость, прикрыться ею.) Часть Целого, которого и нет?.. Здесь что-то, что не больше, не выше пусть, наверно, *глубже* силы... и шанс для «части».

Д.: А знаешь, что все это? Что бы ты увидел, если б только мог?

П.: Ничто.

Д.: А это вотчина как раз моя, по статусу.

П.: В нем *всё*... и уж тем более в нем хватит места всем... Вне примирения, *над* примирением, единством, пониманием.

Д.: Над Истиной и Смыслом (скажи уж до конца). Вне счастья и надежды.

П.: Но это *над* – оно дает предел. Предел *дарует*.

Д.: Он непосилен им. Тебе тем боле.

П.: Но подлинность в пределе. Здесь Договор с тобой бессмыслен... здесь вещь лакает Хаос.

Д.: Ну, ну...

Лоттер закончил, ему вроде бы даже неловко за эту свою взволнованность в финале: «Я, может быть, еще перепишу концовку».

– Друзья, – сказал Прокофьев, – мы делаем успехи. В эту пятницу вот и Дьяволу отказали. Знаешь, Макс, меня умилил этот номер: что-то вроде изгнания Дьявола посредством метафизики.

– То есть ты хочешь сказать, что подписал бы Договор? – улыбнулся Лехтман.

– Я? Я не люблю быть связанным обязательствами. Но для меня это дело вкуса, не более. В отличие от героя сей пьесы, я не отношусь столь серьезно к своим творческим усилиям (понимаю, что немного рисуюсь, конечно).

– Твой персонаж, Макс, – начал Лехтман, – он пытается пробиться, быть может, даже и обретает, но только лишь *безысходность*. Созная, догадываясь, что не обретет свободы здесь, не умножит ее для себя, не углубит самой свободы, не добавит ей (хотя, конечно, он обретает истину, как мне кажется). В свободе – на этом «поле» он проиграл бы своему «абсолютному оппоненту». А вот *безысходность*, тут у нас есть преимущество перед Дьяволом.

– А также перед Богом, – улыбнулся Прокофьев, – герой твоей пьесы, Макс, «открыв» для себя Ничто, сразу же устроил свару за него с тем, кто в Ничто, с тем, кто – Ничто, точнее. И сразу же пытается Ничто гуманизировать, обратить Ничто чуть ли не в основание для себя, в некую точку опоры. – Прокофьев шутовски куда-то в небо: – Се человек!

– Но в этой истовой попытке, когда знаешь все о неудаче... в этой попытке добавить *недостижимому*, не достигая, а свет здесь «побочный эффект», – Лоттер говорил, преодолевая смущение, – вот сейчас, когда сказал, понял, что я писал об этом, пытался об этом. Но вот не получилось... А сердце отдано этому «*устройству Бытия*», его последней, непостижимой ущербности и без остатка, на никаких условиях. Ну вот, получается, надо быть бдительным все-таки, дабы незаметно так не начать играть в поддавки с самим собой. Но вот найти опору в Пустоте...

– А не одну лишь глубину, – съязвил Прокофьев.

Город на склоне дня. Его усталое, расширенное в пространство дневного зноя, отупелое тело положено сейчас в прохладу фиолетовых сумерек, что уже наступают. Его громадное дряблкое легкое пытается выхватить хоть какую-то каплю воздуха свежести. Эта внезапная зримость завершения движения, звука, времени, вообще всего.

Первые огни города – они сейчас габаритные огни самого бытия в мутноватой бездонности космоса. Женщина. Моложе своих лет. После работы. По дороге всячины набрала в супермаркете. Высокая. Асимметрия одухотворяющая лица усталого, нежнее, чем на холстах Пикассо – или же кажется так при этих огнях. Город равен себе. Неправдоподобно равен. Вещь при выходе *за* – в поджилках тряска. Эта сладостная, освобождающая Пустота, потому как *последняя* и не-по-силь-ная... Значит, не надо Бога... В смысле, только Его обрести в предельном прорыве *сквозь*... видимо, безнадежном. Истина. Невозможность Истины – на самом-то деле все снято в их незначительности, незначимости и в пользу их общей... он никогда не узнает здесь... бездонности, может, бездомности... да нет, не о том. Городу что до того. Город выдохнул в ночь...

Сколько Бытия. Привычки. Никаковости (жизни, скорее всего). Сколько свободы, свободы. Свободы. Сколько Неба. Ужаса. Мышления. Любви. Все кончается ничем.

Что ж, так, наверно, честнее. Пусть и невыносимо. Ты отпущен, выпущен будто, может, даже и впрямь... То есть ничего не надо... Сколько бытия...

Вдруг Лехтман наткнулся на Прокофьева. Значит, он тоже спускается сюда, в «долину», бродит по этим улицам, месит гушину этих вечеров. Прокофьев подумал о том, какой хороший обычай был в Венеции, вешаешь значок такой, крохотную маску, и знакомые не подходят к

тебе, не заговаривают с тобой, ибо тебя не узнали, ты же в маске. Лехтман понял его, ему самому тоже не нужно было говорить сейчас. Он не хотел расплескать это свое нынешнее. Он и спустился в этот громадный, бескрайний, набитый донельзя людьми, машинами, жизнью мегаполис за одиночеством. Они кивнули друг другу и разошлись.

Прокофьеву не хватало неба города. Там, у них «на горе» небо вечности, как Лехтман сказал однажды, а здесь именно небо времени. Огни излечивают, пусть на минуту только, то ли от мишуры и бессмыслицы жизни, то ли от страха смерти. И сейчас, этим вечером, небо совпало по направлению, скорости, по самому наклону с временем, с его током, сносившим медленно все эти вещи времени... Все это можно, казалось ему, сгустить до любви. И бытие, и сущность бытия *чего-то так и не могут...* но это не так уж и важно... он понял сейчас это... может даже *должно быть так*. А Лоттер, кажется, этого не увидел... не принял, скорее всего... Усмехнуться над скомканной жизнью, пожать так плечами над ее невнятицей – оказалось так просто. Судьба, не-судьба и всё, что в сем ряду, не имеют такого уж значения. Пусть даже если и непосильны. Можно жить отсутствием смысла? В пользу истины, что ли?.. В пользу раскрытых глаз, хотя бы. То, что он – Прокофьев, не способен здесь, ну так что же...

Тина любила Лоттера, можно сказать, «по Паскалю», то есть любила его не за что-то, не что-то такое в нем любила, будь то ум, талант, доброта (у нее был весьма длинный список), но *самого Лоттера*. Да, конечно, она верила в его гениальность (Лоттеру даже неловко), но любит его все же не за это милое качество. Знает, что он «самый лучший», но и это лишь частность для нее – именно самого Лоттера любила она. Лоттер понимал, что это дар. Он вот при всей своей любви не способен. Ей, кстати, достаточно часто было сложно с ним. Эти его депрессии, когда не пишется или когда не пишет. А она, можно сказать, что слабая и быстро утомляется. К тому же она обидчива. Нет, он никогда не выплескивал на нее (теперь уже не выплескивал), но, скорее, из эгоизма, потому как знал, после «выплеска» будут «муки»: отвращение к себе, пережевывание собственной вины (он же любил быть правым). Импульс, направленный им вовне, он сам себе всегда возвращает удвоенным (назло Ньютону), а уж если направлено на Тину! Он давно уже держит в себе. Но она все чувствует. Знает, что он раздражен. И, понимая прекрасно механику, все же вполне серьезно страдает.

Когда Лоттеру не пишется, он обижается на нее: «она не понимает». Когда пишется – он знает, что ее любовь «превосходит понимание». Ну а так, гневливый, капризный деспот просыпается все реже в нем и сдается быстрее все же. Вот собственно все, чем он мог похвастаться из побед над самим собой по итогам жизни.

Тина же научилась терпению. У нее не было этого изначально. Сколько они вместе? Целую вечность, может. Она оградила его от всего житейского, от «промежуточного», что давалось ей не так уж легко, а у нее не так много было жизненных сил (и не только из-за ее болезни), ее ресурс ограничен и это чувствовалось.

Тина была достаточно наивна, то есть ей мерещилось едва ли не во всех своих знакомых самое хорошее. Но в то же время всегда чувствует фальшь, вкрапления пошлости, позу, но это для нее больше повод посочувствовать имяреку. «Ты совершенно не умеешь разбираться в людях, – говорит ей Лоттер. – Впрочем, должно быть, поэтому ты меня и полюбила». Это дежурная шутка Лоттера. Тина всегда радуется ей.

В ней совершенно не было всей этой женской узости, бабьего упрямства, ограниченности женской, раздражительности, всех этих «гормонов» не было, женской непробиваемой, самодовольной увлеченности «жизнью», ее целями, приземистыми смыслами. «Ангел», – считает Лоттер. «Ты не женщина», – говорит он ей. «Как?!» – несколько недоумевающе и настороженно переспрашивает Тина. «Ты – ангел». Тина делает протестующий жест, хотя считает, что он шутит. С юмором у нее было не очень (ангелам, видимо, не обязательно), то есть если вдруг анекдот, она уходит в сюжет, как и при просмотре эротических фильмов, кстати, включенных,

естественно, для «разогрева». Чуть ли не начинает сопереживать героям. А вот игра слов в своей самодостаточности ей по большей части непонятна (не чувствует вкуса к этому). Лоттеру приходится объяснять (если депрессия, это раздражает), иногда на уровне: «Это я шучу». Тина всегда смеялась над этим своим отсутствием юмора.

У Тины были и какие-то совершенно средневековые структуры сознания, так, она боится лекарств, и если вдруг что, держится до последнего, и это в сочетании с ее колоссальной мнительностью. (Хорошо еще, что по своей болезни принимает все положенное.) Когда Тина здорова, Лоттер умиляется, но если заболевает, это уже проблема, доводящая Лоттера, бывает, до бешенства. «Говорила же мне мама, женись без любви. В этом случае твой первозданный ужас перед таблеткой аспирина был бы твоим личным делом», – это Лоттер уже, когда она выздоравливает.

Тина печатает его тексты. (Лоттер все откладывает на потом овладение компьютером, превосходя ее в технофобии.) Ведет его переписку, отвечает на его звонки. Тина никогда не понуждала его к гонке за званиями, грантами и прочим. Все внешнее, считала она, что ж, придет так придет, но отвлекаться ради этого от главного. (Коллеги считали, что Лоттер вообще-то мог в этой жизни добиться большего.) Профессорские жены, эти катализаторы успехов своих мужей, не признавали Тину «своей», впрочем, ее все-таки любили. Мужья же, те, кто поумнее или же много чего повидавшие, завидовали Лоттеру.

Тина верила даже не в то, что справедливость в отношении книг Лоттера рано или поздно восторжествует – это тоже не главное, но в «абсолютного читателя».

Когда после родов Лоттер пришел к ней, доктор первым делом попросил у него книгу (она как раз вышла только-только, Лоттер сам получил ее вчера, за день до рождения сына). Лоттер даже не понял. Оказывается, Тина на столе, а роды были, доктор сказал, «проблемными» – восемь часов с «негарантированным результатом», все говорила о Лоттере, и только о нем... Роды, как оказалось, и запустили механизм ее болезни (если б знать, Лоттер, наверное, попытался б отговорить Тину заводить ребенка). «Хотя, конечно, еще и наследственность», – сказала главное медицинское светило. Что же касается рисков: «При этой форме может, в принципе, произойти в любой момент, во время любого приступа, но может и не случиться никогда. И госпожа Лоттер проживет долгий счастливый век». Далее светило озвучило обычный набор пошлостей о том, что оно не Господь Бог.

Тина долго привыкала к своей болезни. Мучительно училась болеть, жить с болезнью и с этим знанием «о рисках». Лоттер при всей любви и заботе почувствовал грань здесь между... чем, собственно? «Своим» и «не своим»?! Эта его себялюбивая, мелкая досада, не на Тину, конечно же (хотя, бывало, и на нее), вообще... на жизнь. Что-то вроде: «почему именно с ним это?» Его любовь развивалась, росла, становилась зрелой, но эта «грань» и эта досада, даже исчезнув полностью, временами восстанавливали себя в своих правах.

Это и есть пределы любви? Почему они оказались такими банальными у него? По кочану. Он боролся с собой, и ему удавалось сохранять любовь при поражениях. То есть любовь не вытеснялась долгом, приличиями, привычкой, заботой, угрызениями совести. Как, должно быть, счастливы те, у кого так само собою, изначально, то есть как у Тины. Может, он лишь наговаривает, накручивает на себя только? (Интересное нравственное чувство!)

Во время приступов, когда боль не отпускает ее часами, несмотря на все таблетки, инъекции, несмотря на всю профилактику, «правильный образ жизни» и прочее, Лоттеру как-то стыдно и за свое здоровье, и за то, что при всем своем воображении не может влезть в ее шкуру, и за свои попытки помочь ей, бесполезные, и делает он их для самоуспокоения только.

Тина, выдохшаяся, обессиленная, как-то жалко, совсем по-детски, машет ладошкой, не на Лоттера, а на то анонимное в мире, что было или могло бы быть источником ее мук. В этом ее повторяющемся жесте и упрек, и попытка защититься, и сознание, что защититься, спрятаться

нельзя, и невероятная усталость от слепого и бессмысленного страдания, на которое она, тело ее и душа не рассчитаны.

Ну, а так что – и кровеносная и нервная системы были у него с Тиной давно уже общими. Они прожили жизнь, целую вечность прожили. Стали похожими друг на друга при всей разнице в комплекции, цвете волос, что еще перечислить из разницы? Тина худощавая, можно сказать, худая, с острым лицом (в последние годы особенно). Что же, тем лучше смотрятся эти ее *глаза*. Ее возраст идет к ней, добавляет ее красоте и очарованию какие-то новые грани, при том, что прежние никуда и не делись, она не старела, именно *дополняла себя*...

**\\ Из черновиков Лехтмана **

Полнота истины... если точнее, истина в полноте преодоленности... в пользу? Без всякой пользы. Боль чиста, как ей и положено... Радость хлынула в душу пересохшую, пустую. И больше не надо делать вид, что Беспредельное не знает предела, что Вечность – права, Преходящее – преходяще, что Провидение имеет цель, жизнь – смысл... Больше не надо делать вид и верить, что все, что есть – *есть* или (точнее *и*) наоборот – пусть это так, даже так и ничего кроме... Больше не надо быть вровень с судьбою, быть временем, мудростью, сущью – *не надо*, скорее всего, что за-ради невообразимой глубины Бытия, тебе не данной, не нужной Богу... Ты привыкаешь уже быть объектом для *глаза*, которого нет... Ты пройдешь по лучу, по дорожке струящейся *этого* взгляда... покуда сможешь... Ты неуклонно, немислимо, маниакально затмеваешь в жизни, затмеваешь в смерти. Ты не имеешь своего последнего «не имею», не обольщайся. Не обретешь последнего своего «не-обретения». Твоему сердцу еще предстоит научиться многим простым вещам.

Прокофьев встречал Дианку на вокзале. Сам удивился нахлынувшей нежности. До кома в горле почти. Выпорхнула из вагона. Короткое, но такое нежное, немного смешное прикосновение ее губ, подзабытое уже. Прижалась к нему лошадка такая, на полголовы его выше, статная, хотя где-нибудь лет через пять, скорее всего, располнеет. Блондинка с открытым добрым лицом и изумительными зубами. Как хорошо бы смотрелась на каком-нибудь миссионерском плакате (ее и снимали однажды для обложки буклетика такого толка). Тоже бывшая его студентка. Они с Марией учились вместе в школе, потом на одном курсе, и между ними всегда были какие-то напряженно-подружеские отношения. Как и Мария, она изредка появляется здесь, «на горе». Отдохнет сколько-то у него в мансарде – верхняя точка горы, между прочим. Как-то Прокофьев сказал Дианке про свой чердак, что-то вроде: «мое подполье». Дианка не поняла: «наоборот, мансарда». А ведь была ветеран его семинара и могла бы вообще-то понять. Так вот, отдохнет чуть-чуть (один раз прожила у него целый месяц) и обратно в «долину», в жизнь. Она активистка чего-то такого религиозно-благотворительного или благотворительно-религиозного, он не вникал. Носилась по Азиям-Африкам, добиралась до каких-то подворотен планеты с лекарствами, едой и Словом Божиим. Нет, Прокофьев уважал все это, когда кто-то делает нечто, на что ты сам не способен, это всегда восхищает. Кроме того, Дианка пробовала себя и медсестрой и сиделкой. А тогда на семинаре была у него главной спорщицей, все, конечно же, о Христе. Спорить с нею было неинтересно, как всегда, когда споришь с человеком, которому все ясно, который не спорит собственно, просвещает тебя. Но саму ситуацию, раз уж она неизбежна (Дианка краснела, сердилась, но оставалась на семинаре), он повернул на пользу. Их перепалки подогревали интерес у всей группы, к тому же нужно было что-то им дать для разрядки, плюс Дианка – удобный повод высмеять через нее ту систему взглядов, которые она представляла так искренне. Вот с этой искренности, наверное, все и началось. Потому что за нею душа – простая и чистая, даже жертвенная, может.

Сблизились как-то внезапно. Прокофьев сам не понял – было ли это с его стороны, если сказать словесами, преклонением пред *душой* или, если опять словесами, желанием насмеяться над этой самой *душой*? Наверное, и то и другое было. Дианка потрясена. Поняла чуть ли не как «падение». (Прокофьев был первый у нее. Забавно, на шестом десятке первый раз в жизни кого-то дефлорировал.) Но к Дианке тут же пришла уверенность и какой-то даже энтузиазм – она решила, что это миссия: обратить его-агностика, смягчить сердце циника, вывести его блуждающего без высшей Цели к нему самому, хорошему-доброму, какой он и есть – едва ли не так!

Что касается половой жизни: Дианка добросовестно училась, с интересом отнеслась и к изыскам, но чувствовалось, что не дано ей той женской интуиции и трепетности ей тоже не дано.

Она бросилась опекать его, «организовывать» его жизнь, причем сама была совершенно абстрактной, с нулевым опытом, в самонадеянной, с оттенком превосходства, искренности представляла жизнь по агиткам, что печатал их фонд. Будь она агрессивной, это стало бы несносно, но она была добрая, и потому выходило трогательно. К тому же она терпеливо сносила его иронию и с какого-то времени даже, неожиданно для самого Прокофьева, стала ее понимать. Возможно, Прокофьеву тогда было просто интересно: как долго это может быть трогательным? Но она как раз окончила Университет и начала освоение карты мира. Переключилась с Прокофьева на остальное человечество. Приезжая сюда, «на гору», уже опекала его в основном по быту, по жизни (например, давала советы, как добиться постоянного контракта), но оставила в покое его бессмертную душу (только если уж к слову). Кстати, о контракте: связь со студенткой запросто могла поставить крест на его работе, но Дианка поняла, что это – тайна. И она хранительница. Даже Мария, самая близкая ее подруга так ничего и не узнала, аунее, как вскоре выяснилось, были свои соображения насчет Прокофьева.

Как-то раз Дианка повезла гуманитарную помощь, просто-напросто еду повезла куда-то к черту на куличики, каким-то борцам за свободу. Но эти борцы, оказалось, испытывали и иной голод. Они изнасиловали Дианку всем политсоветом (или как там у них называется). После этого как раз она и прожила у него целый месяц. Прокофьев старался, как мог, выхаживал, развлекал. (Он ухватился за эту свою роль, чуть ли как не за соломинку в тот момент.) Только исподтишка приходилось звонить Марии, дабы убедиться, что она не приедет (ключей от его квартиры тогда еще не было у нее). Звонил через день, под предлогом, что скучает. Мария была тронута.

Потом у Дианки снова пошли все эти поездки, даже еще чаще. Доказать себе? Городу и миру? Судьбе назло? Она верит в правоту своего дела, но, ему казалось, при таких обстоятельствах она делала бы это и, потерявши веру, может, даже и больше бы делала, ежели потерявши...

\\ Из черновиков Лехтмана \\

Бытие, Истина (раз уж нет других слов) пусть еще будет Всецелость, пусть Вечность, Ничто – почему бы и нет, это только лишь коды.

Эта вина. *Их вина*. Перед чем? Кто же знает. Задумано так, чтоб не знать. Она неизбывна... Знаю только – не предо мной. Какого надо хотеть для себя *основания*?

Их пределы. Их трепет. Их миг – немислимый, сущнейший миг, в котором они *незначительны*. Белизна нестерпимая этой свободы? Какого еще надо хотеть для себя *отсутствия основания*?

Как какое-то спятившее небесное тело... как небесная, необязательная, впрочем, вещь, мы, не выдерживающие ничего абсолютного, пусть и преодолевающие порой причинность (вроде бы!), время от времени

принимающие собственное трение о Пустоту за музыку Сфер, несемся, обрастая льдом среди немой тьмы...

*На полях \ *

Одна, очень важная для меня, высвобождающая мысль породила столько не тех образов, как всегда (исправлено на *часто*). Откупиться подлинностью чувства? Я как должник, что настолько не в силах, что не считает даже бешеного роста пени...

А насчет «трения о Пустоту»... надо будет подарить Лоттеру.

Лоттеру предложили прочесть лекцию выпускникам лица. Это традиция, многовековая (как и всё у них «на горе»). Профессор Университета *встречает* юношество, зажигая в их пробуждающихся, приоткрытых уже сердцах благоговейную любовь к знанию и тэ дэ. Профессор должен быть преклонных лет, как минимум пожилой. Кстати, Лоттера пригласили в первый раз, видимо, сочли, что он уже соответствует. Что же, со стороны виднее. Его не очень вдохновляла тематика: античная трагедия. Он же не специалист, о чем они думают? Но ему объяснили, что они и хотели именно не специалиста. Кто читал деткам античную литературу? Профессор Флейшер? Так, все понятно. Это какой-то дар убить душу «предмета» путем исследования его подробностей. Самодовольство описательной науки, уверенной непоколебимо в превосходстве описания над описываемым. Флейшер и иже с ним священнодействуют, бьют поклоны, но не сомневаются ни на минуту, что «предмет» им *обязан*. Блаженные люди и, главное, искренние.

Лоттер сошел с трамвая. В доме напротив лица среди прочих была вывеска «Электра», ну, конечно же, лампочки, электротовары, всякое, но вывеска следующая озадачила Лоттера – «Медея», надо же, это кафе.

– Господин профессор! – директор лица господин Лунц своей респектабельностью удивительным образом гармонировал с самим зданием лица (классицизм с элементами барокко), но когда с ним общаешься, ощущение такое, будто он хочет что-то тебе продать. – Большая честь для нас... ваш уникальный вклад. – В данном случае он продавал Лоттера своему педагогическому коллективу: – Наши ученики читают ваши книги, господин профессор (Лоттер поморщился). Как до нас добрались? (Лоттеру до лица было две остановки на трамвае.)

В лекционном зале директор Лунц представил Лоттера витиевато, но лаконично, видимо, школьникам он был продан до... Полторасотне тинэйджеров было немного скучно заранее.

«Судьба – мы все ее щенки, – начал Лоттер, – сосем ее счастливые, слепые. Когда она (как кажется), ведет к успеху – судьбу подталкиваем в спину и провоцируем ее и искушаем... Хотя, *в конечном счете*, служим ей и гибнем *бескорыстно*». Внимание аудитории не то чтобы было завоевано, но во всяком случае, на нем сосредоточились. – «Пеня, начисленная на ваших еще не рожденных детей». – Затем Лоттер порассуждал о том, что это театр – театр, мы же стали забывать, воспринимаем, прежде всего, как текст, но это именно игралось и в первую очередь для «абсолютного зрителя». Отсюда уровень – *его* уровень, тема «интересная» *ему*, суть – только *суть*, не детали, не содержание (каждый зритель заранее знает сюжет).

Лоттер предупредил школьников, что будет сейчас заниматься только лишь интерпретацией трагедии, он отдает себе в этом отчет и язык его будет, как он смеет надеяться, при всех его недостатках, адекватным задачам интерпретации. Лоттер чувствовал уже, что входит в то состояние, что дается ему как лектору не то чтобы редко, да нет вот, дается: «Абсолютное преступление ради абсолютной же справедливости будет показано снова... С согласием персонажей на муки совести, что им непосильны заведомо (если б не Неба подпорка!). Здесь крайне важно понять: неотвратимое принимается героем трагедии *как* выбор. Это не гуманизм никакой, не прославление свободы, но обнаружение ее пределов, неумолимых и беспощадных. Из предела понимание, из предела осуществление свободы. Трагедия – это такое устройство для подтверждения *неотвратимости*, обнаружения *безвыходности* – которые, конечно же, не

произвол богов, может, само устройство и есть абсолют, а боги здесь обслуживают только... И человек в сознание правоты скорбит над трупом им убитой матери. По собственной воле предоставляет себя возмездию и по той же самой воле упорствует в правоте своего злодеяния. Но это есть воспроизводство Неба. Здесь, кстати, что-то и о воле, в чем мы, наверное, еще не разобрались, может быть, поторопились. Душа остается, даже когда умерщвляет себя сознательно и свободно – остается, упорствует в собственной бесчувственной, невероятной, нечеловеческой правоте... Нам неловко здесь, правда? Не комфортно так, но это именно душа, и мы (все понимая? ужасаясь!) сострадаем... Здесь что-то о душе – и с этим знанием “непереваренным” нас примиряет наша завороченность *глубиной* – но это компромисс. Я не говорю, что знаю, как его преодолеть. Не говорю, что нужно вообще преодолевать. Но надо знать, что это компромисс... (Пусть даже из него себя берут художественный вымысел, вообще эстетика.) Как нам была бы привычна, как удобна была бы борьба Добра со Злом. Почему это зрелище так завораживает сейчас? Может быть, потому еще, что здесь ни-че-го не исправить ни диалектикой, ни открытием истины о человеке или же о бытии. Пусть даже истина эта будет *последней*...»

Лоттер «для разрядки» рассказал об удачах-неудачах современных театров в постановке греческой трагедии. И снова: «Когда становится доступным человеку абсолют, он всякий раз раскрыт своей бесчеловечностью, что затушевано обычно Истиной... Судьба свершает с человеком все – трагедия – единственное место, где торжество судьбы так полно, абсолютно и технологии судьбы отработаны до какого-то сладострастного совершенства. И опять же *глубина* позволяет нам не стесняться этого сладострастия. Получается, то единственное, что можем мы предъявить неотвратимости и безвыходности – двойственно. И само основание наше противоречиво и удерживает себя кое-как на этой своей двойственности...

Необходимость? Блажь и прихоть Неба? Для человека это все сливается, не различить уже деталей, кроме, ну, например, убитого рукой Эдиповой отца и матери, что наложила руки на себя – жену Эдипа любящую...

Уже потом все это начинает обрастать мрамором истории, литературой, рифмой. Точнее, миф, как упавшее дерево мхом, покрывается полутонами, интерпретациями, моралью. В литературе реалистической, психологической, в философском романе *выход* есть, возможен во всяком случае: да, женился на матери (так получилось), да, убил отца (кто же знал), но человек преодолевает ее психологически, экзистенциально, житейски, наконец. Об этом есть замечательные книги. Но в трагедии – Бездна. Она цель, смысл трагедии вне декораций психологии, логики, жизни (попутно правда о них: они – декорации)». Лоттер повернулся к доске, хотел было что-то написать, но передумал: «Мы от богов (пока что) не видали, ну, скажем, абсолютного добра, но абсолютность наказания в каждом тексте доводится до чистоты судьбы. А человек, он просто жить хотел, хотел избыть все то, что есть в его всегдашней доле, а не испытывать предел. Он помнит, как его глаза лежали на ладони, как текли меж пальцев и дочь (она же, кстати, и сестра) ему потом счищала под ногтями. Вот так, с судьбой сравниваться, ей заглянуть в лицо пустотами глазниц. Из той живой игрушки, что в ее руках доверчива и, в целом, довольна жизнью, счастлива была, стать собеседником тому, что непосильно... стать собеседником тому, что и не собиралось вовсе с тобою говорить... Он зрение сменил на виденье и для него открылось, что *и* судьба лишь только частность, часть... скорей всего, громадной пустоты... Наверно, это не опора для него, (конечно не опора!), но, может быть, предел для абсолютного, что ставится в трагедии под подозрение и восстанавливается посредством победы Неба над героем (нам остается только *глубина*, сие не есть награда – так сказать, “издержки процесса”). Предел не человеческий, конечно же, метафизический, но он-Эдип *увидел*. Я здесь, наверно, тороплюсь, и это только лекционный пафос... Словом, мне надо будет подумать. Я потом, – Лоттер замялся, – потом надо будет вам сказать. Я передам через господина директора». – Господин директор величественно кивнул.

«А вот история банальная донельзя, – продолжил Лоттер. – Сегодня бы Медею пригласили на ток-шоу какое-нибудь. Да, у любви есть срок! Но кроме двух сыновей и прожитого ее с Ясоном соединяет миф. Ясон своим решением по переделу ложа миф оставляет в прошлом. Но женщина готова мстить, как только в мифе мстят. Становится ясно: миф – настоящее. Далее на сцене: падение в абсолютность свободы, нарушение предельное запрета на нечеловеческое при *углублении* человека... до дна, до чистоты страдания... Вечность как доступная форма Ничто... Как это все показано? – Лоттер теперь уже ходил в проходе зала: – Посредством матерью зарезанных детей, посредством старика-отца, что в ледящей душу схватке с трупом дочери, неотлипающим, приклеившимся намертво, который он хотел оплакать». – Лоттер вернулся, но не за кафедру, а к столу президиума и начал ходить перед самыми лицами лицейского руководства. «Трагедия есть механизм *переступанья грани*. Переступают, чтобы царство взять в довесок к ложу, не очень, правда, чистому – чужая сперма в смеси с кровью... Переступают, чтобы удержать любовника на ложе, что доблестью и вероломством ничуть не уступает зарезанному мужу... Переступают, чтобы отомстить за преступление, что в Мироздании не может быть не отомщенным. – Лоттер встал наконец за кафедру: – Что безжалостней справедливости? Только лишь торжество справедливости». – Лоттер поймал ритм и ритм уже «вел» его. – «Переступивший думал, будто ставит точку (как в орфографии неискушен!), а точка есть отказ от новой крови. Но это только первый эпизодий, еще точнее – лишь пролог. Переступивший, как известно, никогда не знает точно: кровь телки хлынет в жертвенную чашу или струей горячею его польется кровь под хруст клинком пробитых позвонков. (Потрясающее сладострастие справедливости!) Переступивший, показала жизнь, он может лишь гадать, что съест на ужин: ягненка, запеченного в вине или своих детей, уверен только в соусе, но не в рагу... Так вол слепой вращает колесо, пока не упадет, чтоб место уступить волю другому». – Директор Лунц передал Лоттеру записочку, которую тот машинально сунул в карман. – «Победа правды попанной – мы все ее рабы, мы все ее заложники. В ней столько правоты и неизбежности – не будь ее, наверно пало б Небо, – что нет узды для совести надежнее... Победа правды попанной вершится преступлением, которое возможно только, если Неба нет... *но Небо есть и требует возмездия за торжество своих законов*». – Директор Лунц строчил Лоттеру вторую записочку. – «Приоткрытость какой-то странной, небесной, видимо, механики – Небо наружу кишками». – Директор Лунц хотел было вручить Лоттеру записочку, но тот вдруг отошел назад, к доске. – «Трагедия есть упражнение. Заученное упражненье Мироздания по разрушению, восстановлению самого себя посредством человека. (И здесь важна именно сама эта заученность!) Трагедия здесь полигон для испытания всего, что испытывает нас и служит основанием наших смыслов. Но всё, *'не выдержавшее'* испытания, опять идет в замес. (*Понимание* есть наш предел?! Пускай.) Трагедия, наверно, есть форма противостоянья бездн, в котором мы вбираем эти бездны, хотя из них любая нам непосильна». – Лоттер дошел, наконец, до доски и начал писать своим быстрым, не отстающим от речи, крупным почерком, громко ударя мелом о доску на каждой точке: «Как губка, кровь впитавшая, Добро. Куда-то катит Рок. Бог с кроликом в руке, со скальпелем в другой». Бросил писать и, повернувшись к залу: «Круг как способ Истины существовать и быть доступной нам. Пре-одоленность Смысла, плюс выявлены Неба червоточина, изъян того, что держит это Небо или должно держать... На сцене? Мы. На громадных, несуразных котурнах. А знаете, судьба в своей театральной маске нам все же льстит, уж тем, что с нами борется и давит нас всерьез». – Сразу же поднялся директор Лунц: «Поблагодарим, друзья, нашего многоуважаемого профессора Лоттера за столь глубокую и поэтичную лекцию. К сожалению, наше время ограничено, иначе профессор непременно рассказал бы нам, как столь блестяще раскрытый им тупик античной духовности был преодолен в рамках христианской парадигмы».

В дверях Лоттер столкнулся с Оливией.

– Вы здесь? Вы же наша студентка.

– Я окончила этот лицей, иногда хожу сюда по старой памяти. Я слушаю все ваши лекции, профессор Лоттер.

– Особенно те, что в исполнении доктора Прокофьева, – они рассмеялись. Вновь возникший директор Лунц подхватил Лоттера под руку, подвел к учителям. Те выказали приличествующее случаю восхищение. Лоттер выказал приличествующую случаю скромность.

На улице Лоттер опять встретил Оливию.

– Вы хотели что-то спросить?

– Да, профессор Лоттер. Когда вы читали свою лекцию, мне временами... у меня было чувство такое, что вы говорите все это для абсолютного слушателя, – в принципе Лоттера должно было покоробить, но у нее прозвучало так наивно и чисто.

– Можно я провожу вас, профессор Лоттер? – и они пошли вместе неторопливым прогулочным шагом.

– Как вы изящно шелкнули нашего Лунца.

– Это когда сказал, что передам через него насчет предела абсолюта? Айв самом деле. Я же не совсем был как глухарь на току. Значит, я и хотел его шелкнуть?

– А он и не понял даже, что получил по своей респектабельной лысине. И это было самое смешное, – они опять рассмеялись.

– Профессор Лоттер, в конце вы сказали, что все мы на сцене.

– Да это я так, конечно же.

– А кто в партере?

– Наверно, эллин, – улыбнулся Лоттер.

– Сам не заметил, как сделался собственной римской копией.

– В запаснике нашего, – начал Лоттер, Оливия подхватила и у них получилось в один голос: «Муниципального музея».

\\ Из черновиков Прокофьева \\

Старик на больничной койке. В этот раз неудачно, неловко как-то ввели катетер. Но вроде бы как полегчало.

Он, наверно, сумел бы выдержать смерть, но не выдержит боли... А вот ведь приходится жить.

Что он понял? Больше все как-то по мелочам. Абсолютной истины нет. Вообще. А относительных хватит на всех. И не надо бы было ему из-за них так толкаться (если по правде, он не очень-то и утруждал себя здесь, но сейчас хотелось, чтоб *так*). Он сколько-то их, относительных не раскрыл, не выхватил... Даже те из них, на которые он (скорее всего) был способен, прошли мимо как-то... А теперь он свободен от них. И это вдруг оказалось единственным, что удалось ему... А свобода, она как-то «над» истинами, как ни странно... то есть он не заслужил. И вообще, наверно, даже несправедливо так.

Подлинность самого себя при неподлинности судьбы, мыслей, поступков, отсутствия этих поступков. Может быть, благодаря их неподлинности?

Нет ни сил, ни желания копаться в душе, да и в психике. И было бы что нарыть – та же все дребедень... Любил жизнь! Если точнее, он жизни боялся. Упоенность бытием? Неутоляемость этой тоски. Мелочно все-таки это желанье зайти **за** край (всего). Мелочно и неодолимо. Он сколько-то мгновений все же был, кем, собственно? Наверно, собеседником того, что есть *Отсутствие* (раз слова нет здесь). Был собеседником, пусть даже если не был... Последнее, предельное *Отсутствие*. Все остальное? Все остальное есть уже детали. И время – детали. И смысл. И Бог.

Всех на свободу.

Даже Бытие не имеет тайны (зачеркнуто). И это обязывает к любви? Пускай ее пределы, пускай, пускай, пускай (все зачеркнуто). Он пил из Пустоты (пустая фраза), все остальное только отнимало воздух. Не обольщался по поводу Света, который мгновеньями видел. И не принимал на собственный счет. Не прикрывался ни Вечностью, ни своей же попыткой *прорыва*. Не потому, что было по силам (конечно же, не было) – просто...

Звонок. (Прокофьев выходил за хлебом.) Дианка закрыла его бумаги, поправила все как лежало, аккуратной стопочкой, сверху увесистая глиняная безделушка, сама же привезла ее из Африки. Все. Пошла открывать.

Ему бы Веры. Веры. А он не хочет. Изводит себя по пустякам в этом ложном самокопании, мазохистском вполне. (Не сомневалась, что он это все про себя.) Конечно, опять выйдет книга и опять никто не прочтет. Надо делать хоть что-то, приносить пользу. Он заложник самого себя, собственного мышления, пусть это и слишком громко. Ему бы Веры. И было бы все открыто. Все стало бы чисто и ясно. А она не может ему помочь, то есть когда пытается, заранее знает, что только выйдет карикатура, и опять будет чувствовать себя бессильной, бездарной. Может быть, потому, что ее Вера поверхностна? Надо делать добро, во всяком случае, пытаться, и тогда все ответы сами найдутся и Вера придет. Надо делать добро и тогда все правильно будет. А она, втягиваясь в эти споры с ним, начинает чувствовать себя такой же старой, как Прокофьев.

\\ Из дневника Лехтмана \\

Жаль конечно, все-таки жаль, что жизнь не имеет смысла... Неужели это и есть истина? Та самая? Она и есть?! Пусть так наверно и нужно. Хотелось бы верить, что в пользу свободы... хотелось, чтоб так...

Весь день провели в горах. Не торопясь, с остановками, в удовольствие поднялись лесом, где громадные камни в жилах корней сосны и бука. Они на скамеечке, той самой, (как давно они не были здесь!). А всякий раз к отъезду Дианки он чувствует себя уставшим от нее (на сколько б она ни приезжала). Получается так: Мария утомляет одним, Дианка другим. И с той и с той бывают *мгновения*, но вот эта опустошенность длительности... И сделать ничего нельзя.

Дианка сегодня такая счастливая, тихая. Отдохнув, они поднялись еще. На самую вершину – над отвесной бездной, дальше будут уже снега... Здесь, будем считать, что в верхней точке Европы... А ему – *на самом-то деле* – ему не понять ни бытия, ни сущего... и это сейчас вдруг наполнило душу каким-то особым покоем, не дававшимся ему прежде.

Спустились, но не до конца – где-то до середины. Там, в горном ресторанчике заказали утку с крепким, очень густым, душистым красным вином, что подается только здесь... На обратном пути, уже в фуникулере, Прокофьев заснул, прижавшись к Дианке. Вечером была любовь, спокойная, тихая, долгая.

– Я помню только... я в матросском костюмчике, – говорит Лехтман, – вприпрыжку. Много солнца, света. Только эта картинка. Всего остального нет.

– Ни времени, ни места? – спросил Лоттер.

– Только по косвенным признакам. Я знаю, что я польский еврей, потому как мой язык польский. Значит, я из ассимилированных, следовательно, мои родители были образованными и, весьма вероятно, жили в большом городе, может быть, в Варшаве... Эту логическую цепочку можно еще продлить, но не намного... Насчет времени? Ты не помнишь, Макс, в какие годы была мода на матросские костюмчики для детей?

– Не помню.

– Представь себе кинохронику, старые фильмы, что-нибудь из литературы. Кстати, ты оценил юмор, я упрекаю тебя за слабую память.

– Где-то начало двадцатого века, до двадцатых годов двадцатого, но и в тридцатых они тоже были. Но все равно же по срокам не сходится, Меер?! Да нет, они и позже были. Вообще могли быть когда угодно.

– Сколько лет мне было тогда? Если судить по размерам фигурки – шесть ли, семь. Это ощущение легкого такого, теплого ветерка и света на внутреннем сгибе моего локтя. Больше вообще ничего нет. Но и этого достаточно для идентичности. И прошлое, все прошлое, которого я не помню сейчас, я все-таки принадлежу ему. Даже если оно, в силу моей болезни, не принадлежит мне... Не знаю только, помню ли я этот матросский костюмчик, всю эту сценку или же вообразил себе, но этот образ перед глазами и его, действительно, достаточно.

– А что твой психотерапевт? – спросил Лоттер.

– Говорит, весьма любопытный случай, преувеличивает, видимо. Мне кажется, он уже пишет статью по мне. Кстати, Макс, если это действительно не просто амнезия, но что-то новенькое, чье имя получит болезнь: врача или пациента?

– Ты говорил когда-то, будто у тебя такое чувство, что ты не должен, – Лоттер пытался подобрать слово, но не получилось, – восстанавливать память. Ты даже говорил, что рано еще. Ты и сейчас так думаешь?

– Это как будто дает мне свободу от судьбы.

– Ты думаешь, это свобода? А если это и есть судьба – не помнить.

– Даже если ты и прав. Но я не должен.

– Почему? – Лоттер старался не выказывать сострадания.

– Если я скажу тебе свои предположения на этот счет, ты просто решишь, что вместо утонченного психоаналитика мне нужен обычный, банальный психиатр, – отшутился Лехтман.

Дианка захотела в театр. Прокофьев, честно говоря, был не в восторге, да и театр у них «на горе» из тех, где архитектура в той же мере превосходит драматургию, в коей славное прошлое театра превосходит его самодовольное настоящее.

В этот вечер давали водевиль, Прокофьев приготовился поупражняться в сарказме, но ему вдруг понравилось, в общем-то. Они сидели с Дианкой, рука в руке, смеялись, обменивались пожатиями.

Хуже было другое: в антракте наткнулись на Оливию, Прокофьев хотел преспокойно пройти, но она поприветствовала, к тому же Оливия была с долговязым, пытающимся отрас- тить бороду юношей, а он оказался знакомым Дианки (их волонтер). Из театра возвращались вместе.

– Как вам пьеса, доктор Прокофьев? – поинтересовалась Оливия.

– Игра французского ума, насмешка, кстати, достаточно тонкая, над всеми персонажами, которая, конечно, есть приятие: «такие мы, что ж сделаешь», – укорененность эта наша в себе самих. И пьеса льстит, в конечном счете, льстит своим героям, точнее не столько им даже, как жизни, в смысле преувеличения ее увлекательности, непредсказуемости, света, искр и прочего. Преувеличивает значение событий жизни. – Прокофьев раскрыл программку, поискал в ней:

– А если посмотреть с учетом даты написания сего бессмертного произведения, да и самой премьеры, то получается, ревнивый муж, герой-любовник, любовник ироничный, офи- цер самовлюбленный, в компании с актерами, что их сыграли, наверно, скоро канут в каком-нибудь окопе под Верденом.

– Это меняет что-нибудь? – спросила Оливия.

– Наверно, нет, но все-таки масштаб.

– Ник как всегда накручивает несколько, – сказала Дианка. Все они, включая самого Про- кофьева, посмеялись. В этот чудный, мягкий вечер как-то не верилось в «масштаб». Долговя-

зый юноша, который вообще ничего не понял, на всякий случай смеялся громче всех. Оливия зафиксировала это про себя. Она, судя по всему, вела счет подобных ляпов своего друга и счет этот, видимо, был для юноши неутешителен.

Перед расставанием Оливия, улучив минуту (какая тут минута, могли услышать), шепнула: «Не бойтесь, господин Прокофьев». Это значило, что она не настучит Марии. Значит, теперь у Прокофьева с этим ребенком есть общая тайна. Вот ведь, старый пенек, устроил себе вторую юность, по привычке, наверное. И если б ему, в самом деле, было интересно или не хватало бы ума понять, как он смешон здесь. И не столько даже смешон, как занудлив.

Прокофьев таинственно, даже торжественно (в той мере, в какой таинственен и торжественен был ее шепот) кивнул; договор заключен. Дескать, у них теперь есть тайна, он верит Оливии. Но ему показалось, что она все-таки почувствовала его иронию. Он тогда еще не знал, что все это закончится не слишком смешно.

Ночью, уже после близости, Дианка начала, сначала достаточно мягко (но ясно было, что это надолго) о том, что надо делать добро, о Вере, душе и все с таким оттенком, она жалела его. Нет, ничего конечно же страшного, Прокофьев привык. Он вообще-то умел быть «параллельно» женщине, Дианке, тем более, что с нее взять, в самом деле. Наверное, счастье, когда все так просто и ясно, когда ты все время прав. В нынешнем своем настроении он скорее даже порадовался за нее. Но дело в том, что все, что она говорит ему, все, что он наговорил и сделал за жизнь, все, что он еще будет делать и говорить – все это уже было – бессчетное множество раз было и будет. Десять жизней дай – будет то же самое ровно... А все остальное: живое, хоть сколько доподлинное – лишь для того, чтобы скрыть этот бездарный повтор от самого себя. Подступила та самая брезгливость к себе самому (давно не видели!), тот отвратный, вяжущий привкус поднимался откуда-то из кишок. (Лехтман, все-таки в той своей миниатюре передал это все весьма приблизительно.) Прокофьев молчал. Дианка требовала диалога. Раздражалась уже.

– В вашей Вере слишком много ответов, – начал, наконец, Прокофьев, – В ваших истинах слишком много окончательности и правоты. В вашей правоте слишком много самодовольства. В вашем Христе нет самого Христа.

– Мы спасли тысячи и тысячи от голода и болезней, – у Дианки покрылось краской не только лицо, но и шея, и грудь почти до сосков, до самых, – а ты фразерствуешь только, всю жизнь фразерствуешь. И портишь девочек при удобном случае. Я не зову тебя с собой, как ты однажды выразился, «в африканские болота перевязывать раны». Нельзя принуждать человека заниматься «не своим» (ты говоришь, что я догматик, но видишь, я понимаю). Нельзя принуждать заниматься тем, на что не способен. Но ты бесполезен, абсолютно. И умудряешься в этой своей «бесполезности» видеть некое свое превосходство, доказательство собственной «мировоззренческой широты» (главное, точнее сказать, единственное), гоняешься за миражами и не делаешь даже той малости, на которую ты способен. Помнишь, тебе даже лень было прочитать лекцию на благотворительном вечере, я так просила тебя тогда! После нас останутся больницы и церкви, а после тебя только нераспроданный тираж твоей книги под кроватью. – Дианка ткнула своим указующим перстом в ложе возле крутого бедра, – ладно была б гениальная (будь ты хотя бы непризнанным гением, слова тебе б не сказала!), но понимаешь сам.

– Я не прочел вашим этой лекции из такта.

– Ах, вот как! – Дианка сейчас в этой своей интонации явно подражала Марии.

– Потому, что они бы поняли, почувствовали презрение к ним, к их глянцевай Вере, к самодовольной благотворительности, к их пресному добру, штампованной добродетели, механической морали. Не мое презрение, боже упаси, но презрение, исходящее от самого «предмета» моей лекции. Я преклоняюсь перед больницами и церквами, но ваше самодовольство не закрыть даже Кёльнским собором. Ваша церковь, ваш фонд – Прокофьев бегал уже по комнате, Дианка по-прежнему слушала лежа, – это тоже «рой», даже если на флагах у вас написано

«личность», «свобода», «Христос». Неужели вы думаете, что *Он* страдал, прошел свой путь за- ради того, чтобы вы со своими пасторами и благотворителями от Его имени презирали реаль- ность?! Пусть презираете вы не агрессивно, скорей, снисходительно, но в этом-то самый смак и глупость тоже самая-самая. Может, кстати, твоя подруга Мария (при всем моем несочувствии) в своей борьбе с вашей фальшью права. (Прокофьев не был так уж уверен, что Мария борется именно с этим. И зачем он сейчас о Марии с ней? Для остроты.)

– Я в своем фальшивом, конечно же, желании делать добро сколько раз рисковала. Ты, может быть, помнишь, однажды, те, кого я спасла от голода, шесть часов подряд издевались, глумились надо мной всеми способами, какие только есть, – Дианка закусила губу, по щекам текли слезы.

– Ладно, хватит. (Пусть закончится так... на ее моральной правоте. Даже лучше, чтоб так.) Ладно. Ладно. Мы оба применяли запрещенные приемы. Ну, хватит. – Прокофьев сел на кровать. Погладил ее по плечу. Он утешал ее. Потом вдруг попытался овладеть ею, скорее «порядка ради». Она была не то чтобы оскорблена, удивлена, прежде всего. Через некоторое время равнодушно ему уступила.

Много позже, когда Дианка наконец заснула, Прокофьев встал, сунул ноги в сланцы, ему нравились эти жесткие, что приятно щекочут и колют кожу, как бы даже удостоверяя его в реальности самого себя. Запахнулся в халат и выполз на свой балкончик. Небо и горы. Небо как вертикальный срез самого времени, или же вечности, сейчас неважно... А мы вот *живем*, сей факт по наивности принимая за основное оправдание для себя самих. Даже лучшее его, подлинное, главное все равно получалось у него пошлым. И он, наверное, только лишь притво- рялся, что не замечает. А эти его попытки все изменить, *пробиться* были совсем уже пошлы. (Если они только были вообще.) Он когда-нибудь (усмехнулся) напишет книгу о ложном катар- сисе.

Правда, ее жестокость, точнее, скандальность, даже не в том, что мы боимся мышле- ния, несносны в своем добре, ограничены в истине, домогаемся собственной правоты чуть ли не у Мироздания, млеем от своей духовной требухи, раболепствуем перед мнением, норовим сбиться в кучу, уверены, что интересны Богу, наслаждаемся запашком своей изнанки, но в том, что в этом во всем мы непроходимо комичны.

За спиной у него, в его постели женщина. Совершенно чужая ему – он вдруг увидел это, хотя, в общем-то, всегда знал. Чужая. Это новое какое-то открытие хорошо известного ему сделало вдруг его... свободным, что ли... И любовь, если только это любовь, нет, конечно, любовь – она ничего не изменит здесь.

Небо и горы. Самые пики гор. На другом конце города в этот же самый миг Лоттер – он о том, как бессмысленно наше предельное *сквозь*... Потому как все это и есть итог любого *сквозь*. Должно быть таким итогом. Дальше, наверное, только самообман свободы... Но мы претендуем на это усилие, истовое, невероятное не для того, чтобы нам обретасть... Чтобы *терять* и только. Терять все наше... и все, что поглубже нас. (А мы не можем.) В этом нет ни справедливости, ни выбора...

Небо. Лехтман в своей чердачной каморке будто бы встроен в него. Небо напичкано све- тилами, временем, вечностью, звездной трухой, пустотой, бесконечностью, мало ли чем. Оно ни-че-го не значит. Не может значить. Но возвращает нам самих себя, но только в новой нашей незначимости высвобождающей, может... Это такое бытие. Свет? Разумеется, есть, даже если и нет источника света...

Прокофьев проснулся, наверно от духоты. Дианка лежала с открытыми глазами.

– Ник! (Прокофьеву вспомнилось, как она долго привыкала говорить ему «ты».) Я вообще – то не все рассказала тебе. Не все рассказала тогда. Я имею в виду про *то*... Они потом меня еще и собаке давали.

Когда Прокофьева отпустило, он... до него дошло вдруг – она не сказала об этом сегодня (вчера), чтобы не было это аргументом в их споре.

Они опять пересеклись там внизу, в «долине», в мегаполисе. На этот раз Прокофьев подошел, только в «маске» был уже Лехтман, но он, разумеется, «снял».

В кафе заказали себе по глинтвейну, благо вечер холодный.

– Я сегодня ходил здесь, – начал Прокофьев, – чтобы не быть одному. Где-то было у Чехова, смысл такой: кругом люди и люди, ты никого не знаешь и тебя никто не знает, но ты не один.

– Я понимаю, это такое *не один, не одинок* и достигается только благодаря анонимности. – Я здесь брожу как призрак, марсианин – люди, лица и краски и смыслы, не говоря о языке, мне непонятны, что придает глубину этому *не одинок* – до ощущения некоего братства... В этом чувстве, в его банальности и простоте вдруг проступает: все данное нам в повседневности, в напряжении неимоверном, в преодолении предела или же просто даром, в нашем растянутом, скомканном, всяком, по большей части все же бездарном времени – все-таки *не судьба* и не истина... Это сознание и есть, очевидно, счастье, мне сейчас показалось так, во всяком случае. Хотя, конечно же, настроение просто.

Они помолчали. Прокофьев вообще-то хотел рассказать всю эту историю с Дианкой, Марией, но сейчас вдруг почувствовал, что незачем, не хотелось об этом сейчас.

Заказали кофе с крошечными канапе на шпажках, хотя лучше, наверно, сейчас пошла бы пицца.

– Меер, как там с психотерапевтом, продвигаетесь?

– Он – да. Я – нет.

Они опять замолчали, наслаждаясь этим внезапным «почти что покоем». Прокофьев так все и вертел в руках пластмассовую шпажку. Лехтман смотрел в окно, подперев голову волосатым кулачком. Вот первые капли на стекле. Вот их уже больше. Причем ощущение было, будто дождь вызван этой долгой, рассеянной мыслью «ни о чем» Лехтмана.

В кафе ввалилась компания, человек шесть бритоголовых с сучкой. Вот они вваливаются веселые, разгоряченные, а тут Лехтман. Может, и обошлось бы, но сучка взвинтила. Это ее истошно: «Генрих, давай!» Генрих оказался высоченной горой жира плюс сколько-то мускулов с невнятным лицом. У него, очевидно, на этот вопль был условный рефлекс. Он толкнул ладонями (ладонь в полгруды Прокофьева) и Прокофьев с Лехтманом полетели через стол. Звон, грохот, брызги, радостный хохот компании. «Это за блокаду Газы». Лехтман в падении врезался в барную стойку, сверху посыпались бокалы, еще какая-то дрянь «Как в кино». Лехтман вскочил, схватил стул, и так захотелось киношной, простой, примитивной победы над злом.

Прокофьев поднялся, пошел на Генриха, уклонившись от небрежного, из-за полного презрения к нему как противнику удара, сделал короткое и, главное, точное движение. Гора жира тоненько взвизгнула, схватилась за ухо, (кровь побежала меж пальцев) и повалилась, засучила ножками по полу.

В полиции бритоголовые совершенно спокойно объяснили, что их прикид, вся символика все-таки в рамках закона. Да, на грани, конечно, но все же не *за*. Прокофьев тоже, правда, не столь спокойно, объяснил, что воткнул пластмассовую шпажку в ухо, исходя из самообороны. Альтернативная версия бритоголовых не прошла.

Адрес Прокофьева почему-то вызвал недоумение у инспектора. «Это там, «на горе» Инспектор сверился с компьютером, но что-то все равно его не устраивало. «Посмотрим», – почему-то пообещал инспектор, вместо обычного «разберемся».

Сучка все наседала на Прокофьева, что-то вроде: «Ну, ты попал, папаша! Не представляешь, в какое дерьмо ты влип. Ты даже не представляешь! Адвокат Генриха завтра же будет

у тебя». Напоследок инспектор довольно сурово сказал, что не следует ходить по сомнительным местам им, пожилым и солидным людям. Лехтман извинился, они не знали. Инспектор удивился несколько, но сам же себе объяснил: «Ну да, вы же тоже “с горы”».

Когда вышли, Прокофьев развел руками: все получилось так, будто всю жизнь тренировался. Знаешь, впервые – вообще впервые, поставил подонка на место. Слава богу, что удержался, не ударил в глаз. И вообще, что-то в последнее время слишком много событий, то есть я не разделяю культа событийности. Мне уже начинает казаться, что события заслоняют собой кое-что поважнее.

Лехтман вдруг вспомнил, что в давнишнем своем отрывке, так и не завершенном, кстати, он и сочинил всю эту историю. Только у него их с Прокофьевым избили до полусмерти.

Старость – это, наверное, когда твоя кровь уподобилась времени, – Лоттер развивает перед Тиной сценарий их старости, – а время почти что встало и, кажется, в эти воды можно вступить уже дважды для торжества тавтологии, видимо.

– Наверное, у меня книжные представления, – говорит Тина, – но мне всегда казалось, что старость это когда прошлого больше, много больше, чем настоящего.

– Насчет прошлого? О, тут могут быть варианты. Творишь так былое и это не произвол, но провисание связей с собою... и помогает от повседневности.

– Но старость сама повседневность.

– Конечно, нескончаемая борьба за сон, против изжоги, за дефекацию (этот милый ряд можно длить). Это все как-то вот заслоняет... Заслоняет тебя от Вины и Бездны?! Твоя спутница перескажет тебе твою жизнь, перескажет тебе тебя. Ты обретешь – обретаешь былое с ее слов. Милосердие все-таки...

– Да, – подхватила Тина, – с Шэрон Стоун вы расстались как-то слишком быстро. Аты в ответ вздохнешь: «Перед Мадонной (или как там?) я был, конечно, виноват».

– И я в который раз выпрашиваю, – продолжает Лоттер, – о тех своих миллионных тиражах, о славе, которая (конечно же!) не главное.

– А я тебе об этом в деталях достоверности, которые (и в этом соль) не выдумать специально. Бывает, ты встревожишься: «А где же деньги? Мы кое-как на жалкой пенсии, концы с концами». А я тебе: «Ты все раздал – благотворительность, программы всякие гуманитарные. Поддержка Университета. Гранты для молодых ученых плюс борьба со СПИДом». И ты в ответ великодушно: «Ладно».

– Но вдруг мгновение, – говорит Лоттер, – когда свет. И ветка. И тень этой ветки на полу твоей комнаты. И трепет тени. Мгновение, когда вдруг дышишь – свободно дышишь. Ты будто есть то знание, то знание последнее бытия, которого, наверно, нет.

Мгновение, когда вдруг различаешь звуки, движения жизни, о которых, оказывается(!) позабыл за вереницей процедур, диет и прочего.

Мгновение, когда пальцы твои ощущают струпья старой краски на косяке твоей двери. Когда мысль дорастает до анонимности в своей глубине, внезапной и высвобождающей. Когда вкус капли, глотка воды божественен и заключает в себе суть сущего, а если нет – неважно.

\\ Из дневника Лехтмана \\

Перечитал «Экклезиаста» после долгого перерыва, не помню, когда последний раз брал в руки. Все, что *остается*, все, что побеждает тлен, суету ли, время, – все это тоже бессмысленно. И Путь, и Круг, и Вечность бессмысленны... и то небольшое надвременное, мгновения победы над временем, прорыва сквозь, что вроде нам даны – бессмысленны... Пусть даже если в этом, только в этом и могут быть смыслы, истины и само бытие... О, этот наш, скорей всего, что дар – опустошающий и непосильный дар

обнаружения последней этой бессмысленности – он добавляет? Наверно, все же добавляет Недостижимому? Бытию? Ничто? Свободе? Воздуху?

Свет в твоём сердце. Глубина возможного для тебя добра.

И Путь, и Круг, исчезновение без следа и Вечность – бессмысленны, недостижимы. Да пребудет радость! В твоей доле ничего нет. Непосильная чистота бытия...

Она не пришла. Ну и что. Он и не ждал каких-то чудес от встречи – встреча и встреча. Женщина промежуточная, конечно же, (он после отъезда Дианки наскоро познакомился). И вот, не пришла. А ему уже пусто и мутно... Именно сегодня, сейчас Прокофьеву было так нужно избежать себя. Избежать мышления. Только мыслей вроде и нет – вообще.

Вычитание из него... времени, жизни, судьбы, обстоятельств. У Прокофьева было чувство, что он сейчас поймает себя на притворстве, но на каком? То ли он притворяется, что живет, чувствует, пишет, радуется солнышку, то ли притворяется, что не может выдержать это свое притворство.

Она не пришла. Если он о «гормонах счастья», свидание могут вполне заменить отбивная с картошкой и полбутылки вина, хотя сейчас ему лучше б коньяк, (спиртное не следует наслаивать на «левитру», но и раньше такое бывало, и ничего.) Небо из его окошка (благо, все же чердак). Звездное небо сегодня, боже... как это небо все-таки вовремя со всеми своими звездами... Эта внезапная, потрясающая и внезапная зримость Вечности. А он вот не заслужил. Искажает лик, считая при этом себя... Все его, даже лучшее, чистое самое, все уводит в сторону только – виновно... было б виновно, если б было хоть сколько заправдашно, подлинно сколько-то. Вечность есть покрывало, сказать, камуфляж Мрака и Хаоса? Значит, законов (у мира) нет, счет предъявлять (оказалось) *не к кому*. Значит, истина, свет, добро и любовь держатся *ни на чем*. Свобода? Скорее, пределы свободы. Все остальное?! Не так надежно. Хорошо, что наша, да что там! – его бездарность не мера какая бытия... не мера вещам, что попроще.

Долгий, долгий сон, такой, что возможен только под занудство ночного дождя, что до сих пор вот не перестал, не хватило времени ночи. Сон, конечно же, не освежающий, чувствуешь себя старше лет на десять, и это нытье всегдашних болячек. Привыкание к холодам всегда давалось тяжело ему. Тело – нельзя сказать, что игнорирует волю мозга, но исполняет с особенным отвращением. Большая чашка горячего кофе примиряет его с действительностью. Он – Лоттер? Если по правде, он ходит по кругу, что же порой натывается на новизну. Это, видимо, развивает.

В это утро как-то вот явственно напрасность прожитой жизни, доподлинность сущего, ненужность собственных откровений, потуг, прорывов – все это явственно так, что, можно сказать, примиряет. Все, что не-есть – *есть* как не-есть, то есть уходит от себя самого в этом не-... Застревает между?. Родовая травма бытия. Подобие ответа, почему вообще есть бытие (а не наоборот) на таких вот условиях, кабальных. Застревает между – это бытие и есть? В несовпадении, в зазоре – *все*. Вот так искаженности, благодаря искаженности... Свет из зазора?

\\ Из дневника Лехтмана \\

Эта чудная осень. Предстоящее безмолвие мира. Сколько обещания бытия в самом этом начинающемся умирании.

Из Университета Лоттер возвращается сегодня с Лехтманом, Меер иногда приходит к нему на лекции. Вообще-то в последнее время его все чаще провожает Оливия. Трогательна, свежа, даже оригинальна. Лоттер догадывается о ее чувстве. И понимает, в общем-то, ему цену, пусть оно и искреннее. Девушка пробует себя. Начинает ощущать себя в мире. Любит любовь. Точнее, примеряет себя к любви. И цену ее восторгу и этой ее тревожности Лоттер тоже пред-

ставляет. Девушка полна собой, до краев. Это естественно. Юность права (так ли уж?). Но при всем своем понимании Лоттер все же смущен. И чуть ли не чувствует себя виноватым.

Один только раз зашли с ней в кафе и, надо же, входит Прокофьев. Лоттер не нашел ничего лучше, чем застесняться. На лице у Прокофьева: «И ты туда же. Нужен совет? Спроси. Но все понимаешь сам». Лоттер конечно же дал ему понять, что он как раз «не туда же», но Прокофьев проигнорировал. Поболтали немного (куда ж деваться). Оливия тут же сняла напряженность. Как это у нее всегда выходит так просто. Но надо бы ограничиться прогулками с Лехтманом (чувствовал сам, что у него не получится).

– Преодолеть, трансцендировать недостижимое? – Переспросил Лехтман. – Или же такое преодоление, такая попытка и есть путь к нему?

– Преодолеть, – говорит Лоттер. – Безоглядно. Пусть ты не дотянулся даже до стоп преодолеваемого и никогда не дотянешься здесь.

– Неудача, видимо, предусмотрена сценарием. Просто, исходя из твоего стиля мышления, Макс. К тому же, получается, преодоление у тебя вместо достижения, не так ли?

– Не надо, наверное, обращать это преодоление и саму его заведомую неосуществимость в способ познания, – ответил Лоттер, скорее каким-то своим мыслям, – надо б удержаться от такого соблазна.

– А мне кажется, это было б как раз. Да, собственно, так оно и есть.

– Но в этом (пусть даже только это реально) какая-то успокоенность (сколько ни накручивай пафоса познания, познавания) и, значит, все-таки *упрощение*, значит *не то*. Преодоление недостижимого – это должен быть способ раскаянья... может, такая попытка любви.

– Ты не позволил себе сказать это сейчас на лекции, – улыбнулся Лехтман, – что здесь значило б «преодолеть»? Как мы могли б вообще понять, что недостижимое трансцендировано? Как отличить прорыв к недостижимому от прорыва сквозь (независимо от удачи, неудачи)? И можно ли вообще разделять здесь? И *к чему*... то есть что за недостижимым? И может ли оно вообще быть? Имеет ли право?! Но не есть ли все это лишь проявление нашей самодостаточной, пусть даже если чистой и искренней, страсти к неоправданному усложнению Бытия, метафизической реальности? Не есть ли это гордыня такая – нам не достичь, а мы мечтаем о каком-то *за*? Ты здесь ничего не можешь. Вообще ничего! Но почему же не прибавить еще один «этаж»? Все ж таки возвышает. Я к тому, не обольщаемся ли мы на свой счет здесь? Преодолеть, по-моему, можно лишь идею недостижимого, но стоит ли?

– Хорошо, давай попробуем астрономическую аналогию (я не люблю аналогий, ты знаешь). Ты преодолеваешь астероиды, звездную пыль, звездный шлак. Планетоиды преодолеваешь, планеты, звезды – ты немыслимо меньше их, но преодолеваешь. Они-преодоленные не отменены, наоборот, обретают...

– Предел, конечно же?

– Да, предел. Они «теперь» *из* предела. Так глубже и неизбывнее... Преодолеваешь саму беспредельность... Ты не познаешь (где тебе), не овладеваешь, не властвуешь (ты не настолько наивен), не способствуешь их становлению (они, может быть, «глубже» становления), не раскрываешь их сущность (есть поважнее задача, да и не раскрыть, конечно же) – ты их *трансцендируешь*, разгоняя, до каких-то скоростей, до жути такое бытие – их бытие *из преодоленности*. Это не сущностный их предел, но предел, что дарован самой трансценденцией, то есть *сущнейшее* преодоленного – не ядро ядра, не семечко семени, не суть сути, но выход за них, за бытие их *и* сущность в их искажении самих себя и друг друга.

– Но это побег к Ничто! Причем даже от Ничто, что в них (преодоленных), в сущности их и бытии, в Бытии *и* сущности Бытия. Я понимаю, сейчас ты скажешь, что наше усилие прорыва не зависит, есть ли что за преодолеваемым, за недостижимым, есть ли *последнее за*... и есть ли само недостижимое. (А только оно – *последнее!*) Мы свободны от этого высшего *к*... Но ты организовал побег к черной дыре.

– Может, и так. Даже точно, что так. Но только она не втягивает – выталкивает, Меер. Выталкивает «обратно». В этом «обратно» вся суть для преодолевающего и для преодоленного. И как понимаешь, не в пользу надежды... Преодолеть недостижимое не ради какого-то *за* (его нет и не может быть) – это прорыв *к* себе (и все преодоленное в этом твоём прорыве тоже «обращается» *к* себе самому), но «с другой стороны».

– Зачем?

– Во имя чистоты, наверное. То есть этого требуют глубина и безысходность Бытия.

– Или Ничто.

– Может, не так уж и важно.

– Это что, некий выход за согласованность Бытия и Ничто? Или, напротив, торжество согласованности до их тождества? Но самому недостижимому здесь дается хоть что-то?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.